



М. И. Гиллельсон



От арзамасского
братства
к пушкинскому
кругу
писателей



А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р

СЕРИЯ «ИЗ ИСТОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ»

М. И. Гиллельсон

От арзамасского
братства
к пушкинскому
кругу
писателей



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Ленинградское отделение
Л е н и н г р а д
1977

Ответственный редактор

Н. В. Измайлов

Г $\frac{70202-202}{054(02)-77}$ 30-77

© Издательство «Наука», 1977 г.

На очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой...

Лица удивительной немоты появились сразу, тут же на площади, лица, тянущиеся лосинами щек, готовые лопнуть жилами. Жилы были жандармскими кантами северной небесной голубизны, и остзейская немота Бенкендорфа стала небом Петербурга.

Тогда начали мерить числом и мерой, судить порхающих отцов; отцы были осуждены на казнь и бесславленную жизнь.

Ю. Н. Тынянов. Смерть Вазир-Мухтара.

ВСТУПЛЕНИЕ

«Бесславленная» жизнь отцов обернулась их бессмертием.

Пушкин принадлежал к поколению отцов. Немилость к поэту началась за пять лет до залпов на Сенатской площади.

От его дерзких эпиграмм бледнел в ярости Александр I.

От его вольнодумных стихов пьянели беспшибашные головы юных поручиков.

Читал свои поэмы Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Царевбийственный кинжал.

Ссылка на Юг.

Ссылка в Михайловское.

Лето 1826 года. По всей стране разносится звон московских колоколов; в древней столице торжество — коронация Николая I.

В запыленном платье, — прямо из дорожной коляски, — стоит Пушкин перед новым императором.

Николай I величественно, со снисходительной улыбкой, прощает поэту грехи его молодости. Кто старое помянет, тому глаз вон; ведь старое было не при нем, а при его брате; тем легче поставить крест над былым.

Николай I обещает реформы. Отставлен Аракчеев. Отправлены на покой многие сановники александровского

царствования. Но легче сменить десяток министров, нежели осуществить одну социальную реформу.

Пуще всех напастей русский император боится гласности. Создан секретный комитет 6 декабря 1826 года. Тайно, в священной тишине кабинетов вынашивается проект реформ.

Пушкин был осведомлен о деятельности секретного комитета. «Государь, уезжая, оставил в Москве проект новой организации, контрреволюции революции Петра, — сообщал Пушкин Вяземскому 16 марта 1830 года. — Вот тебе случай писать политический памфлет, и даже его напечатать, ибо правительство действует или намерено действовать в смысле европейского просвещения. Ограждение дворянства, подавление чиновничества, новые права мещан и крепостных — вот великие предметы. Как ты? Я думаю пуститься в политическую прозу» (XIV, 69).¹

«Контрреволюция революции Петра» и действия «в смысле европейского просвещения» — понятия, на наш взгляд, несовместные. Пушкин же мыслил иначе. Противник петровской табели о рангах, поэт мечтал об «ограждении дворянства» от проникновения в него выходцев из других сословий. По его убеждению, старинное независимое дворянство должно было повести страну по пути европейского просвещения.

Николай I не решился избрать путь социальных реформ, и Пушкину не пришлось «пуститься в политическую прозу». Но кто точно знал в те дни, какой политический курс изберет император?

Ведь в комитете 6 декабря 1826 года секретно обсуждался самый больной вопрос русской социальной системы — вопрос о крепостном праве; пытались решить головоломное уравнение со многими неизвестными — как произвести отмену крепостного права без потрясения основ самодержавия. И тогда-то за кулисами русской политической жизни возникает фигура экс-арзамасца Уварова.

Умный царедворец, Уваров не спешил выдвинуться вперед в начале царствования Николая I. Он видел, что

¹ Здесь и далее сочинения Пушкина цитируются по изданию: Пушкин. Полное собрание сочинений, т. I—XVII. М.—Л., 1937—1959 (римскими цифрами обозначаются тома, арабскими — страницы).

государственный корабль еще не имеет твердого курса. Уваров продолжает президентствовать в Академии наук, путешествует по России, посылает царю письменные донесения о злоупотреблениях местной администрации, участвует в работе комитета по пересмотру цензурного устава и даже выступает там в поддержку либерального регламента для печати. Еще идут 1826—1828 годы, и ему не ясно, прогресс или застой одержит верх в предначертаниях Николая I.

Уваров не торопится занять государственный пост. Он хорошо запомнил урок, преподанный ему в начале 1820-х годов: после разгрома столичного университета он вынужден был покинуть пост попечителя петербургского учебного округа. Тогда он потерпел фиаско. Так лучше теперь семь раз примерить, перед тем как один раз отрезать. И Уваров терпеливо ждет. Лишь в середине 1831 года он решает, что пробил его час.

Уваров пишет пространный меморандум «De la servitude personelle en Russie» — «О личном рабстве в России». Надо отдать должное дипломатическим способностям автора: меморандум составлен столь тонко, что, кажется, вот-вот порвется. Но казуистическая одаренность Уварова помогает ему благополучно миновать все препятствия. Ему удается обосновать и сформулировать именно те мысли, которые хотелось услышать Николаю I.

«Личное рабство, — писал Уваров, — не обнаруживается в наших старинных установлениях. Наши предки придерживались феодальной системы, почерпнутой из духа германских законов, со всеми выгодами и недостатками ее, со всеми хорошими и плохими политическими последствиями ее, вплоть до того момента, когда татарское нашествие сокрушило все то, что существовало в России, извратив дух и моральные принципы народа даже в большей степени, нежели его институты. Эта буря, потрясая Россию, отразилась на всем ее внутреннем устройстве. Когда она вышла из этого разрушительного смерча, то оказалась униженной, изнуренной, изувеченной, с естественной тенденцией к абсолютизму и готовой на любые жертвы ради достижения хоть какой-либо политической независимости.

С того времени, как власть сконцентрировалась в одних руках, все изменилось; элементы прежнего порядка уступили место новым элементам. Исчезли безвозвратно

остатки свободного и феодального, которые еще были в нравах. Высшая власть, вынужденная необходимостью, избрала первыми жертвами республиканские установления, происхождение которых теряется у истоков нашей истории. <...>

Нужно сказать откровенно: личное рабство не может быть, в принципе, оправдано никаким точным и разумным аргументом. Излишне выдвигать против него обвинения, которые никто не станет оспаривать, или высказывать набившие оскомину язвительные насмешки. Из этой очевидной истины вытекает принцип не менее определенный: личное рабство может и должно быть уничтожено».²

Однако категоричность этого вывода не мешает Уварову привести далее самые разнообразные доказательства того, как трудно и небезопасно в настоящее время приступить к отмене крепостного права. И наконец следует заключительный вывод, не блещущий новизной; Уваров повторяет то, что уже столько раз было говорено в XVIII веке: сначала просвещение, а затем — не уточняя когда же наступит это долгожданное «затем» — освобождение крестьян. Софистический круг благополучно замкнулся!

Уваров делает блистательную карьеру, он становится товарищем министра, а затем — в данном случае «затем» оказалось синонимом «вскоре» — министром народного просвещения и ближайшим советником Николая I.

Далеко, очень далеко разошлись дороги арзамасцев. События 14 декабря 1825 года по-разному отразились на их судьбе.

Никита Муравьев отправлен на каторгу в Сибирь.

Николай Тургенев, заочно приговоренный к смертной казни, лишился родины, стал политическим изгнанником.

Михаила Орлова выслали на жительство в его имение.

Пушкин, Вяземский, Денис Давыдов, Александр Тургенев были оставлены под подозрением.

Карамзин скончался в мае 1826 года.

Дмитриев и Василий Львович Пушкин доживали свой век в Москве.

В гору пошли дипломаты — Блудов, Дашков, Уваров заняли министерские посты.

² Отдел письменных источников Гос. исторического музея, ф. 17, № 87 (подлинник по-французски).

Спокойно, без особых взлетов и падений, продолжали службу Полетика, Северин, Вигель, Жихарев.

Неспокойно, постоянно заступаясь за жертв царских гонений, служил Жуковский.

Декабрьский катаклизм окончательно выявил размежевание внутри арзамасского братства.

Порой дело доходило даже до полного разрыва. «Александр Тургенев встречал графа Блудова у madame Карамзиной. Блудов — воплощенная доброта и совсем не злопамятный. Он протянул руку Тургеневу, который ему сказал: «„Я никогда не подам руки тому, кто подписал смертный приговор моему брату“. Представь себе всеобщее замешательство, и я там присутствовал. М-ме Карамзина покраснела от негодования и сказала Тургеневу: „Monsieur Тургенев, граф Блудов был близким другом моего мужа, и я не позволю оскорблять его в моем доме. Больше не будет неприятных встреч, слуги будут предупреждены, и когда присутствует граф, то monsieur Тургенев не войдет, и наоборот“. Бедный Блудов вышел со слезами на глазах. Тургенев сказал „Перемените ему фамилию, а то просто гадко: от блуда происходит“. Екатерина Андреевна ему сказала: „Ваши шутки совершенно неуместны в эту минуту“». ³

Наряду с размежеванием, обнаружилась и противоположная тенденция. Передовые арзамасцы все теснее сближаются между собою; они образуют ядро новой литературно-общественной группировки, широко известной под именем «писатели пушкинского круга».

Во времена «Арзамаса» Пушкин был талантливым юношей, надеждой русской словесности.

Теперь, десятилетие спустя, Пушкин стал во главе литературы. Ему еще не исполнилось тридцати лет, а он, неоспоримо, уже первый на отечественном Парнасе. Вокруг него собираются лучшие писатели. Среди них мы встречаем арзамасцев — Жуковского, Вяземского, Дашкова, Дениса Давыдова, Александра Тургенева. Но не только арзамасцев. К новому писательскому кругу примыкает лицейский товарищ Пушкина Дельвиг и его литературные друзья; в орбиту писателей пушкинского круга

³ Смирнова-Россет А. О. Автобиография. М., 1931, с. 174—175.

постепенно вовлекаются Баратынский, Языков, Погорельский, Катенин, Плетнев, братья Киреевские, Гоголь... На развалинах арзамасского братства вырастает новое литературное содружество.

В его анналах мы не встретим шутливых протоколов; буффонде дана полная отставка; в его истории отсутствуют какие-либо регулярные заседания — ни с торжественным ритуалом «Беседы», ни с буднично-деловой обстановкой разных обществ любителей словесности.

Все эти формы литературного быта отжили свой век; они не перешагнули за рубеж александровского царствования. Теперь центрами притяжения становятся альманахи, журналы. Литературные соратники встречаются келейно, в своих кабинетах, гостиных, в редакциях журналов. Правда, еще существует Московское общество любителей словесности, а в Московском университетском пансионе происходят собрания, на которых воспитанники читают свои произведения. Но это уже анахронизм. Эпоха литературных обществ безвозвратно миновала.

С 1820 по 1826 год Пушкин был оторван от литературной жизни Москвы и Петербурга. За это время многое изменилось. Скольких писателей недосчиталась столица после декабрьских событий 1825 года! В Москве же появились новые имена. С первых дней пребывания в Москве Пушкин начинает быстро преодолевать свое вынужденное отчуждение от нового поколения писателей. Через полтора месяца после приезда из Михайловского сближение его с кругом любомудров уже дает осязаемый результат: 24 октября 1826 года Пушкин почетный гость на обеде редакции новорожденного «Московского вестника». Однако постепенно наступает взаимное охлаждение. Попытки любомудров воздействовать на творчество Пушкина (стихотворение Д. В. Веневитинова «К Пушкину», шевыревское «Послание к А. С. Пушкину») не дают желанного результата, — им не удастся «создать» Пушкина по образу и подобию своих эстетических концепций. Литературно-эстетическая позиция любомудров не находит отклика у Пушкина. Правда, он продолжает интересоваться литературной деятельностью А. С. Хомякова, С. П. Шевырева, М. П. Погодина, но вся линия «Московского вестника», эстетические пристрастия его издателей, ориентация журнала на немецкую идеалистическую философию и эстетику вынуждают Пушкина

отказаться от деятельного участия в «Московском вестнике».

В те же годы возникают трения между Вяземским и Н. А. Полевым. Ни сотрудничество Вяземского в «Московском телеграфе», ни поддержка Пушкиным «Московского вестника» не привели к прочному союзу. Оба эксперимента окончились неудачей. Слишком чужеродной оказалась литературно-общественная среда, в которой они хотели акклиматизироваться. Вяземский вскоре порывает с Николаем Полевым; издатель «Московского телеграфа» становится антагонистом дворянской культуры, приверженцем французской романтической историографии и эклектической философии Кузена; Пушкин все больше охладевает к любу мудрам. Тактические союзы не выдерживают испытания временем. Начинается тяготение к «своим», к «своему» кругу писателей, к единению, которое было бы органическим и зиждилось бы на близости социальной позиции, на однородном характере общественных притяжений и отталкиваний. Альманах «Северные цветы», вышедший с 1825 года, а затем «Литературная газета» Дельвига становятся средоточием пушкинского круга писателей. К концу 1820-х годов, ко времени издания «Литературной газеты» контуры новой литературной группировки проступают достаточно отчетливо. Она противостоит как органам «торгового» направления Булгарина—Греча, так и различным московским журналам — от третьесословного «Московского телеграфа» до архаического «Вестника Европы», цитадели дворянского консерватизма.

Термин «пушкинский круг писателей» встречается в работах, исследующих литературу и литературно-общественные процессы того времени. Но теоретическое обоснование этого понятия отсутствует. Между тем, лишь определив историко-литературное содержание этого термина, можно в должной мере оценить значение литературно-общественной деятельности этого круга писателей.

В книге «Молодой Пушкин и арзамасское братство» (1974) мы пытались рассмотреть жизненную и творческую позицию Пушкина в непосредственной зависимости от его литературного окружения, начиная с Лицея и кончая серединой 1820-х годов. Настоящая работа, являясь логическим продолжением предыдущей, должна развить избранную нами точку зрения и показать на конкретном

материале, каким образом распад арзамасского братства, его социальная дифференциация, столь бурно протекавшая после поражения декабристов на Сенатской площади, привели к созданию новой литературно-общественной группировки, именуемой писателями пушкинского круга. Но прежде всего уточним наше понимание этого термина.

В сословном государстве литература не может не иметь отпечатка сословности. Усложнение сословного характера общества вызывает усложнение литературных процессов, дробление словесности.

В России дифференциация литературных рядов происходит особенно четко со второй трети XIX столетия. До этого времени доминирующее положение в литературе занимали дворянские писатели. Расслоение дворянской идеологии создавало два основных литературных ряда — передовую и консервативную литературу. Конечно, имелись и разночинные, демократические писатели, в той или иной степени соотносящиеся с идеологами западноевропейского третьего сословия. Но их удельный вес в XVIII и в начале XIX века был столь незначителен, что самостоятельного литературного ряда они не составляли, а примыкали, — несмотря на все внутренние расхождения, — к линии передовой дворянской культуры.

Кроме того, демократическая литературная прослойка не была однородна по своей идеологии; частично ее представители находились под влиянием охранительных монархических тенденций, и, таким образом, произведения некоторых разночинных писателей, вопреки отдельным социальным нюансам, приближались к консервативному ряду дворянской культуры.

С течением времени идейная дифференциация, сопутствовавшая творчеству разночинных писателей, привела к общественному размежеванию внутри этой литературной прослойки, равно как и к резкому антагонизму с основными литературными течениями, которые тогда господствовали в отечественной словесности. Со второй трети XIX столетия возникает самостоятельный демократический ряд, явно противостоящий всей дворянской культуре в ее обоих идеологических вариантах. С другой стороны, несколько ранее, примерно с середины 1820-х годов, охранительные тенденции «среднего» сословия все интенсивнее проникают в консервативный ряд дворянской культуры,

лишая его заостренной сословной направленности, трансформируя его идеологическую основу и жанрово-стилистическую ориентацию.

С середины 1830-х годов отличительной особенностью русской литературы является наличие трех литературных рядов. В исторической перспективе, при обособлении демократического ряда, передовая дворянская литература постепенно теряет свою прежнюю социальную позицию и перестает быть главным носителем оппозиционных взглядов. С течением времени эта роль переходит к писателям прогрессивного демократического ряда, а передовые дворянские литераторы вступают в идейный антагонизм с остальными двумя литературными рядами.

У истоков этого длительного антагонизма — столкновение писателей пушкинского круга с «Московским телеграфом», с одной стороны, и с «Северной пчелой» — с другой. И хотя в этом столкновении доминирующее положение еще занимали передовые дворянские писатели, тем не менее надвигающаяся социальная изоляция была неотвратима. И даже литературный престиж Пушкина, Гоголя, Жуковского, Баратынского мог лишь на короткий срок затормозить неумолимый исторический процесс оттеснения передовых дворянских писателей с авансцены отечественной культуры.

Такова социальная природа пушкинского круга писателей и исторические предпосылки его возникновения. Теперь перейдем к характеристике эстетических устремлений этого литературно-общественного течения. При анализе творческой манеры Пушкина, Жуковского, Дельвига, Баратынского, Дениса Давыдова, Вяземского обращает на себя внимание исключительное разнообразие стилей. Возникает вопрос, вправе ли мы столь различных поэтов причислять к одному литературному течению; не преобладают ли в их творчестве такие тенденции, которые исключают возможность называть их литературными единомышленниками. Впрочем, это сомнение относится в равной степени и к прозе: достаточно вспомнить, сколь различны между собой прозаические произведения Пушкина, Одоевского и Гоголя.

Итак, можно ли столь различных писателей объединять в одну литературную группировку? Если рассматривать лишь художественные особенности их творчества, то ответ неминуемо будет отрицательным. Но сущность

проблемы состоит в том, что понятие «писатели пушкинского круга» представляет собой прежде всего *социальную* дефиницию. Близость общественных взглядов является той демаркационной линией, которая отделяет писателей пушкинского круга от иных литературных группировок, направлений, течений. Неприятие буржуазно-демократических идей и оппозиция апологетам монархической власти — таковы общественные отталкивания этой литературно-общественной группировки. Общность социальной позиции позволяет нам установить историческую реальность, признать неоспоримым фактом существование пушкинского круга писателей.

Значительно сложнее обнаружить общность художественного видения мира. Ранее, анализируя творчество арзамасцев, мы пришли к выводу о том, что не существовало единой литературной платформы «Арзамаса».⁴ Подобный же вывод напрашивается при рассмотрении литературного наследия писателей пушкинского круга, столь различных по своей стилистической ориентации, по своим художественным принципам, по своим эстетическим устремлениям.

Пушкинский круг писателей, объединивших передовых дворянских писателей, занимал господствующее положение в истории отечественной культуры почти до конца 1830-х годов, точнее говоря, до гибели Пушкина, который являлся центральной фигурой этого движения. Во главе пушкинского круга писателей находились арзамасцы Пушкин, Жуковский и Вяземский; менее заметную роль играли арзамасцы Денис Давыдов, Дашков и Александр Тургенев. Вокруг «арзамасского ядра» постепенно стали группироваться писатели, близкие по своим социальным симпатиям. В первую очередь это литературный круг Дельвига, тяготевший к «Северным цветам». Бесспорно заметное воздействие этого единственного печатного органа передовых дворянских писателей во второй половине 1820-х годов на процесс становления их общественного сознания. Литераторы, тянувшиеся к издателю «Северных цветов», деятельно участвовали в созда-

⁴ Гиллельсон М. И. Молодой Пушкин и арзамасское братство. Л., 1974, с. 103.

нии новой писательской группировки. Помимо «Северных цветов» и «Литературной газеты», они были инициаторами и некоторых других изданий. В 1830 году Н. М. Кошкин и Е. Ф. Розен составляют альманах «Царское село», в 1830—1833 годах Е. Ф. Розен выпускает альманах «Альциона». Имена Пушкина, Жуковского, Баратынского, Дельвига, Вяземского, Федора Глинки, Сомова, Деларю постоянно мелькают на страницах этих изданий; анонимно печатаются в них произведения поэтов-декабристов; в «Литературной газете» появляются отрывки из произведений Гоголя; вскоре Гоголь органически входит в пушкинский круг писателей. Из московских изданий этого направления следует указать альманах «Денница», изданный М. А. Максимовичем в 1830, 1831 и 1834 годах, а также журнал И. В. Киреевского «Европеец», запрещенный правительством в начале 1832 года.⁵

Хронология печатных периодических изданий писателей пушкинского круга: «Северные цветы» (1825—1832), «Литературная газета» (1830—1831), «Подснежник» (1829), «Царское село» (1830), «Альциона» (1830—1833), «Денница» (1830—1831, 1834), «Европеец» (1832) — это перечень может быть увеличен за счет неосуществленных замыслов: журнальный проект Пушкина (1831), газета «Дневник» Пушкина (1832), журнальный проект Жуковского (1832), журнальный проект Вяземского (1833) — хронология достаточно точно демонстрирует, что наибольшая активность этой литературно-общественной группировки проявилась в конце 1820-х и в на-

⁵ Об этих изданиях см.: Блинова Е. М. «Литературная газета» А. А. Дельвига и А. С. Пушкина. Указатель содержания. М., 1966; Степанов Н. Л. «Литературная газета». — В кн.: Очерки по истории русской журналистики и критики, т. I. Л., 1950, 383—401; Вацуро В. Э. 1) Пушкин и общественно-литературное движение в период последекабрьской реакции. Ситуация 1825—1837 годов. — В кн.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. Коллективная монография под ред. Б. П. Городецкого, Н. В. Измайлова, Б. С. Мейлаха. М.—Л., 1966, с. 217—227; 2) К изучению «Литературной газеты» Дельвига—Сомова. — Временник Пушкинской комиссии. 1965 г. Л., 1968, с. 23—36; Mercereau J. Baron Delvig's Northern Flowers. 1825—1832. Literary Almanac of the Pushkin Pleiad. London—Amsterdam, 1967; Müller E. Russischer Intellekt in Europäischer Krise. Ivan V. Kireevskij (1806—1856). Köln, 1966; Фришман Л. Г. К истории журнала «Европеец». — РЛ, 1967, № 2, с. 117—126; Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972.

чале 1830-х годов. В эти же годы наиболее интенсивно ведутся споры писателей пушкинского круга по политическим вопросам и историко-философской проблематике; в недрах пушкинского круга писателей появляются в эмбриональном виде идеи славянофильства и западничества.

Завершался первый период царствования Николая I, время, которое можно назвать эпохой несбывшихся преобразований. Отказ правительства от социальных реформ и последовавшее запрещение «Европейца» подвело окончательную черту под этим периодом. Однако имелись и более ранние симптомы, указывавшие на то, что верховная власть боится прогрессивных начинаний, опасается людей с независимыми и передовыми взглядами. Вспомним эпизод, относящийся к осени 1828 года. В III Отделении пишется записка о намерении Пушкина, Вяземского, В. Ф. Одоевского, братьев Киреевских и некоторых других дворянских писателей издавать в Москве политическую газету «Утренний листок». Власти переполошились. На сей раз тревога оказалась ложной. Но как характерно, что умный фон Фок, правая рука шефа жандармов, сразу же, без малейших колебаний, поверил доносу; ибо этот донос не был единственным: в III Отделении со всех сторон поступали донесения о том, что вокруг Пушкина и Вяземского объединяются независимые писатели. Чиновникам политического сыска стало ясно, что к исходу 1820-х годов в стране возникает новая литературно-общественная группировка — писатели пушкинского круга, многие из которых по своим личным связям и общественным симпатиям имели непосредственное отношение к деятелям декабристского движения.

Этот литературно-полицейский «диагноз» решил вскоре участь «Литературной газеты». Придравшись к четверостишию Казимира Делавиня о Французской революции, Бенкендорф вызвал Дельвига в III Отделение и в недопустимо грубой форме пригрозил сослать его, Пушкина и Вяземского в Сибирь. Бенкендорф хотел усмирить строптивых, независимых дворянских писателей. Пока ему удалось лишь ускорить смерть Дельвига. Потрясенный бесцеремонным тоном Бенкендорфа, Дельвиг впал в душевную депрессию и вскоре скончался.

Шесть лет спустя погибнет Пушкин.

И тем не менее, вопреки подозрительности и угрозам властей, Пушкин и его литературные соратники не капитулируют перед правительством. Они продолжают жить «с веком наравне» и даже пытаются заглянуть в будущее; в 1830-е годы среди них идут острые споры по политическим и историко-философским проблемам. Велика разногласия мнений — и все же это столкновения внутри одного литературного круга, объединенного социальной общностью и испытывающего властную силу отталкивания от других литературно-общественных группировок своего времени.

Размер книги не позволил автору всесторонне рассмотреть избранную им тему; пришлось ограничиться лишь теми вопросами, изучение которых наиболее четко выявляет процесс консолидации пушкинского круга писателей и в то же время обнажает динамику идейных столкновений Пушкина и его литературных соратников. Самый существенный пробел — отсутствие глав о «Литературной газете» и альманахах писателей пушкинской ориентации. Исследование этих печатных органов — предмет особой монографии (или монографий); поэтому автор вынужден был оставить незаполненным этот пробел, лишь в самых беглых чертах наметив его первостепенное значение для раскрытия темы.

1820—1830-е годы обновили общую картину западно-европейской историографии; это повлекло за собою изменение состава имен историков, к которым стали проявлять интерес деятели русской культуры. Успехом стали пользоваться труды представителей французской романтической историографии (Минье, Гизо, Тьерри, Барант) и исторические романы Вальтера Скотта. Обновление культуры затронуло, можно сказать, все области духовной жизни. Известность Гюго, Бальзака, Стендаля, Мериме, Мюссе, Альфреда де Виньи, Гейне, Шамиссо, Гофмана затмила славу их предшественников. Множество новых имен появилось и в других отраслях знаний. Все труднее становилось для русского человека следить за убыстряющимся ходом европейской жизни, особенно если учесть цензурные условия того времени. Требовался живой посредник, который следил бы за нескончаемым потоком новых книг и идей, за изменениями политических, исторических, религиозных взглядов, за экономическими и социальными преобразованиями. Для пушкинского круга писателей таким посредником стал А. И. Тургенев.

Смерть Людовика XVIII в 1824 году и восшествие на престол Карла X усилили позицию самых реакционных элементов аристократии и высшего духовенства. Приехав в Париж в октябре 1825 года, А. И. Тургенев оказывается в самой гуще событий, которые с неумолимой последовательностью привели к Июльской революции 1830 года. Он видит, как под покровительством властей пытаются

вернуть себе утраченные позиции иезуиты и другие религиозные конгрегации; как по требованию королевского прокурора возбуждаются судебные преследования против оппозиционных газет, как запрещают чтение лекций профессорам гуманитарных наук, которые понимают обреченность попытки Карла X повернуть вспять ход истории.

«Революция все изменила, — писал А. И. Тургенев о политическом перевороте во Франции в конце XVIII века. — Прежде актеры искали и находили некоторые образцы для своих ролей в высшем классе: теперь их нет там. Им надобно знакомиться с знатными другого рода, с аристократами финансов, с Лафитами и Ротшильдами».¹

Из театра Александр Иванович обычно спешил в гости. Здепные литераторы и ученые охотно принимали у себя Тургенева. Среди его новых знакомых — хозяйка знаменитого литературного салона: «... провел вечер у мадам Рекамье, и она мне чрезвычайно полюбилась. Милая, прелестная физиономия, которая носит на себе печать прекрасной жизни — и черты красоты душевной, неувядаемой. Я думал найти пожилую красавицу, строгую, неприступную, как ее добродетель; а нашел добрую, еще прекрасную женщину, для которой в нашем языке одно выражение: *милой*, по душе, по уму — и по глазам, в коих и душа, и сердце, и ум ее выражаются. <...>

Мадам Рекамье живет в четвертом этаже, в одной комнате, в которой и спальня и приемная ее. Один портрет во всю стену мадам Сталь, камин и маленькая кушетка, около которой литераторы, журналисты, лорды, перы и депутаты оппозиционной партии собираются два раза в неделю».²

В салоне мадам Рекамье беседовали о последних политических событиях и литературных новостях. Не молчал и Александр Иванович; он завел речь о русской словесности и отметил в дневнике, что говорили «много о поэте Пушкине, коего дядю, Василия Львовича, мадам Рекамье знавала».

Знаменательная запись! Представитель передовой России, Тургенев еще в 1825 году рассказывал литературному Парижу о судьбе и творчестве Пушкина.

¹ Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825—1826). М.—Л., 1964, с. 319.

² Там же, с. 363.

Мадам Рекамье познакомилась с Василием Львовичем в 1803 году, во время его посещения Парижа. Пушкин, конечно, знал о заграничном вояже своего дяди от него самого; Василий Львович не раз потчевал племянника рассказами о своей поездке. К тому же этот вояж стал литературным событием. Иван Иванович Дмитриев сочинил шутивную поэму «Путешествие NN в Париж и Лондон, писанное за три дня до путешествия». Эта озорная шутка начиналась стихами:

Друзья! сестрицы! я в Париже!
Я начал жить, а не дышать!
Садитесь вы друг к другу ближе
Мой маленький журнал читать...

Далее, проникательно предвосхищая события, Дмитриев писал от имени Василия Львовича:

Вчера меня князь Долгоруков
Представил милой Рекамье.

«Путешествие NN в Париж и Лондон...» вскоре было напечатано; тираж — 50 экземпляров; их роздали приятелям автора. В 1836 году Пушкин писал об этой шутивной поэме: «Нам приятно видеть поэта во всех состояниях, изменениях его живой и творческой души: и в печали, и в радости, и в парениях восторга, и в отдохновении чувств, и в Ювеналовом негодовании, и в маленькой досаде на скучного соседа...» (XII, 93).

Чопорной морали великосветских гостиных Пушкин противопоставлял светлое, эпикурейское отношение к жизни, отстаивал право поэта на любой литературный жанр, который ему в данный момент по душе. От него требовали восхвалять мудрое правительство, — он отвечал «Домиком в Коломне», собирался печатать озорную поэму Дмитриева.

Пушкин и сам любил пошутить. 31 октября 1826 года Тургенев вспомнил о вечере 1817 года, когда он «сближал пасторов протестантских и реформатских, и поэт Пушкин угощал их у меня пуншом и ужином, а под конец и бичевал веселым умом своим — вином разогретого пастора».³

³ Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825—1826). М.—Л., 1964, с. 434.

Как же отнесся Александр Иванович к озорной выходке Пушкина? Тургенев был верующим человеком, но никогда не принадлежал ни к ханжам, ни к выпендренным моралистам. У него хватало ума ценить по достоинству остроумные суждения даже тогда, когда они не совпадали с его собственными. Свойственная ему широта взглядов отразилась в тоне записи, явно благожелательной к «веселому уму» Пушкина. Какой необычный и точный эпитет, как метко характеризует он Пушкина!

Теперь, в 1826 году, давнишняя перепалка юного Пушкина с пасторами могла наводить Александра Ивановича на глубокие раздумья. С годами он все более критически относился к отцам церкви. Конечно, «Война богов» Парни, столь любимая Пушкиным, не стала катехизисом Тургенева. Но и «Гений христианства» Шатобриана не был для него откровением. Александр Иванович понимал и иронию Парни, — особенно когда она целила в Ватикан, — и благочестие Шатобриана, — особенно когда он не пел дифирамбы папе.

В беглых записях Александра Ивановича о Пушкине нас поражают и частные замечания, точность, с которой он заносил на бумагу душевные и умственные движения поэта, и общий верный взгляд на его творчество.

25 февраля 1828 года Тургенев записал в дневнике о встрече в Лондоне с англичанином-банщиком: «Он был долго в России камердинером графа А. К. Разумовского и цитует ругательные стихи Ломоносова над митрополитом: признак и отпечаток того времени в России. Теперь бы он вывез Пушкина. . .»⁴

Для нас, людей XX века, произведения Пушкина — чаша нашего духовного бытия. В этом нет ничего удивительного. Но достойно удивления, что в двадцатые годы прошлого столетия, когда творческий путь поэта еще не был свершен, когда слова о его гениальности еще не стали общим местом школьных учебников, когда после выхода в свет его произведений раздавались голоса недоброжелателей и хулителей, нашелся человек, который понял, что творчество Пушкина должно считаться мерилom национальной культуры.

⁴ ИРЛИ, ф. 309, № 9, л. 7.

«14 марта <1828>... Обедал у маркиза Лансдовна. Приехал с Вильсоном в 7^{1/2} часов и скоро пошли за стол. Маркиз познакомил меня с другими конвивами, в числе коих был и знакомый брата Томсон, член парламента и банкир-либерал. Жена Лансдовна любезна, и за столом мне очень ловко и весело было болтать с нею. Когда дамы нас оставили, разговор о политическо́й экономии, о истории, о поэте Пушкине, о брате сделался общим. Томсон знавал Пушк<ина> в Одессе, а брата в англ<ийском> клубе и здесь. Говорил Лансдовну, что книга его вряд ли не единственная о сем предмете и не в одной России и пр<очее>».⁵

Перед нами столовая английского политического деятеля маркиза Лансдоуна, одного из лидеров партии вигов. Александр Иванович завел речь о Пушкине. «Мы с ним знакомы», — неожиданно раздалась реплика одного из гостей, Чарлза Томсона.

Чарлз Эдвард Полит Томсон, барон Сиденхем (1799—1841) был сыном лондонского купца. Он жил в России в 1815—1817 и 1821—1823 годах, где вел дела в филиале торговой фирмы своего отца; с 1826 года член английского парламента. Ранее, с 1822 по 1824 год, он числился членом Английского клуба в Петербурге. В русской столице Чарлз Томсон свел знакомства с будущими декабристами. В записке Фаддея Булгарина о связях людей 14 декабря с иностранцами сказано: «Корнилович и Муханов (Петр) были в связи с богатым английским купцом Томсоном, который снабжал их запрещенными либеральными газетами и брошюрами. Сам Томсон учился по-русски и путешествовал по России».⁶

Естественно предположить, что Томсон доставлял и Пушкину книжную «контрабанду».

Сегодня Александр Иванович горячо говорил о Пушкине в обществе, завтра — брал в руки томик его стихов.

«25 апреля <1828>... Я заглянул случайно в экземпляр Пушкина стихов, который я прислал брату, и во всей книжке нашел только следующие стихи в „Уединении“, отмеченные карандашом:

⁵ ИРЛИ, ф. 309, № 9, л. 33. — Конвив (convive) — гость. Книга его — «Опыт теории налогов» Н. И. Тургенева.

⁶ Щеголев П. Е. Декабристы. М.—Л., 1926, с. 303.

Я здесь, от суетных оков освобожденный,
Учуся в истине блаженство находить,
Свободною душой закон боготворить,
Роптанью не внимать толпы непросвещенной,
Участьем отвечать застенчивой мольбе.⁷

«Уединение» — это «Деревня»; по цензурным соображениям она была напечатана в 1826 году с измененным названием и в урезанном виде. Однако братья Тургеневы, конечно, знали полный текст «Деревни», написанной в 1819 году, в пору их близости с поэтом.

Александр Иванович разыскал окончание стихотворения среди своих бумаг; 15 августа 1830 года в его дневнике появляются строки:

Но мысль ужасная здесь душу омрачает,
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества убийственный позор.

И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная зоря?⁸

Перечитывая «Деревню», Тургеневы вспоминали беседы с поэтом на Фонтанке, когда в стихах Пушкина и тирадах Николая Ивановича гремела анафема российскому «хамству» — крепостничеству.

Теперь было не до анафемы. Восстание декабристов закончилось неудачей. Весть о нем застала их в Париже. Николай Тургенев был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением; он не вернулся в Россию.

Гибель друзей и вольнолюбивых надежд потрясла их младшего брата Сергея; его хрупкая психика не выдержала трудного экзамена; он умер на чужбине в 1827 году.

Александр Иванович остался верен брату-декабристу. Полуопальным, политически неблагонадежным человеком прожил Александр Иванович остаток жизни — целых два десятилетия. И никогда не пожалел о выбранном пути!

Теперь они жили на чужбине и с нетерпением ожидали вестей из далекой России. Друзья не отступились от них; с каждой почтой шли к ним письма от Жуковского и

⁷ ИРЛИ, ф. 309, № 10, л. 17.

⁸ Там же, № 308, л. 122.

Вяземского. Письма и книжные новинки. 18 апреля 1828 года Вяземский сообщал Александру Ивановичу: «Пушкин посылает тебе с Ломоноссиком шесть частей Онегина и новые издания Руслана и Бахчисарайского фонтана».⁹

Полтора месяца спустя оказия прибыла в Лондон; 7 июня Александр Иванович записал, что он получил «русские книжки и прочел все 6 песен Онегина, кн. Долгорукую» и часть Бахчисарайского фонтана. Так и обдало Русью! Но не без наслаждения читал поэтов-приятелей, вспомнивших меня в отдалении и почти в ссылке».¹⁰

Первоначально главы «Евгения Онегина» выпускались отдельными книжками, по мере того как поэт заканчивал их. Шестая глава «Евгения Онегина» вышла в свет в конце марта 1828 года, и Пушкин при первой же возможности переслал ее вместе с предыдущими главами Тургеневу в Лондон.

Первую главу романа предварял «Разговор книгопродавца с поэтом»; его и начал читать Александр Иванович. Читал и заносил в дневник строки, которые его взволновали.

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья,
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувство воздаянья.

Поэт казнит — поэт венчает.

Наш век горгаиш. В сей век железный
Без денег и свободы нет.

Эти афористические строки с особой силой звучали в столице Англии, тогдашнем центре мировой торговли. Но не только чай и кофе, шерсть и хлопок, не только изделия английских умельцев продавались и покупались. Чувства и мысли также становились предметом торга.

Здесь, в Лондоне стремительный прогресс в области промышленности и науки был виден отчетливее, нежели в Петербурге. Но и отрицательные стороны буржуазного

⁹ Архив братьев Тургеневых, вып. 6. Пг., 1921, с. 65. — Ломоноссик — Ломоносов Сергей Григорьевич (1799—1857), лицейский товарищ Пушкина, дипломат.

¹⁰ ИРЛИ, ф. 309, № 10, л. 53. — Кн. Долгорукая — поэма И. И. Козлова «Княгиня Наталья Борисовна Долгорукая», изданная в 1828 году.

стройка проявлялись на берегах Темзы четче, чем на европейском континенте. Кто мог отныне сомневаться в том, что прогресс — Шейлок, берущий чудовищные проценты за каждое свое благодеяние? Продолжим чтение выписок из дневника А. И. Тургенева.

Но вреден север для меня.

Пора надежд и грусти нежной

И о былом вспоминать.

К чему бесплодно спорить с веком.

Я все грущу, но слез уж нет,
И скоро, скоро бури след
В душе моей совсем утихнет.

Увы! на жизненных браздах
Мгновенной жатвы поколенья,
По тайной воле провиденья,
Восходят, зреют и падут;
Другие им вослед идут...
Так наше ветреное племя
Растет, волнуется, кипит
И к гробу прадедов спешит.¹¹

Под пером Александра Ивановича строки «Евгения Онегина» становятся летописью его собственных переживаний.

А Онегин? А Татьяна? Неужели Александра Ивановича не заинтересовала их судьба? Не будем опрометчиво судить его: прочтем запись, сделанную им в Лондоне неделю спустя:

«Одна из дам описывала мне с некоторою живостию деревенскую жизнь свою и взаимные посещения знакомых, родных на неделю и часто более в замках их; из слов ее и многих других я заметил, что мужчины, особливо мужья, еще менее любезны в сельских куцах, чем в городе: там утро проводят они рыская на охоте или

¹¹ Там же, л. 54.

толкую о политике; усталые возвращаются домой к позднему обеду, пьют чай, говорят мало и спешат в объятия Морфея, оставляя дам с надеждою увидеть мужей за завтраком с новым аппетитом и с новыми планами — провести утро с верной собакой и с ружьем, и с новым аппетитом возвратиться к — верной жене и к верному ростбифу.

Пусть здешний Пушкин опишет здешних Онегиных и здешнюю Таню». ¹²

Так проецировал Александр Иванович пушкинский роман в стихах на английские нравы.

В январе 1829 года А. И. Тургенев посетил имение маркиза Лансдоуна, расположенное недалеко от Лондона, и познакомился там с поэтом Томасом Муром, другом и биографом Байрона. Месяц спустя, встретив Александра Ивановича в лондонском клубе «Атеней», Томас Мур заговорил о переводах произведений Байрона на русский язык. А. И. Тургенев пообещал составить для него «меморию» о Пушкине, Жуковском, Козлове и Байроне — и на следующий день вручил ему свою записку; в ней содержались краткие характеристики русских переводчиков Байрона, а также в переводе на французский и английский язык отрывки из стихотворений Пушкина. ¹³

Несколько месяцев спустя А. И. Тургенев получит пушкинскую «Полтаву» и отошлет ее брату; сам же он к этому времени пересечет Ламанш, посетит Брюссель и поселится в Париже.

30 ноября 1829 года Александр Иванович сообщит Жуковскому: «Брат читает теперь Полтаву Пушкина и 12-й том Карамзина: желал бы сообщить и тебе и Вяземскому то, что он пишет о сих 2-х книгах, но лучше на словах...» ¹⁴

Николай Иванович жил в это время в Чельтенгаме в обществе «неистоцимого и всеобъемлющего» Петра Борисовича Козловского, того самого, который несколько лет спустя станет сотрудником пушкинского «Современника». Письма Николая Тургенева из Чельтенгама сохранились;

¹² ИРЛИ, ф. 309, № 10, л. 58 об.

¹³ Подробнее об этом см. статью М. П. Алексеева «Томас Мур, его русские собеседники и корреспонденты» (Международные связи русской литературы. М.—Л., 1963, с. 243—272).

¹⁴ ИРЛИ, ф. 309, № 307, л. 178.

вот что он писал 18 ноября брату в Париж: «Сегодня я получил от Mrs. Н. XII т. Карамзина и Полтаву. Сию последнюю читали ходя поутру у колодца. Множество стихов совершенно похожих на стихи Хвостова. Окончание 1-й песни, где он описывает Марию с Мазепою, только по сию пору нам понравилось.

После завтрака прочел вслух несколько страниц из Истории. Плавно, но водяно. Замечание историка «о добродетелях государей и народов», в сравнении Шуйского с Годуновым, совершенно ребяческое, и не основательное, и не философическое <...> Я начал читать К<арамзи>на XII т., и горько, и печально, и часто гадко!»¹⁵

Беспощадны слова Н. И. Тургенева о двенадцатом томе «Истории государства Российского». Суров его отзыв о «Полтаве». И не только суров, но ироничен. Стихи одописца, графомана Д. И. Хвостова были предметом постоянных шуток арзамасцев. Большого оскорбления, чем сравнить чьи-либо стихи со стихами Хвостова, трудно себе представить. И тем не менее отзыв Н. И. Тургенева вполне объясним. Прошло лишь четыре года со дня поражения декабристов на Сенатской площади. Правление Николая I не вызывало у Н. И. Тургенева надежд на обновление социального строя России. Книжные новинки, получавшиеся из Петербурга, он читал пристрастными глазами участника политической катастрофы. Он жаждал услышать слово хотя бы косвенного осуждения российских порядков. Такого слова он не слышал. Прославление самодержавия в двенадцатом томе «История государства Российского» вызвало осуждение им труда Карамзина; апофеоз Петра I в «Полтаве» он воспринял в остропублицистическом ключе. Тактическая линия Пушкина, пытавшегося историческим примером Петра I воздействовать на Николая I, чтобы добиться амнистии декабристов и проведения кардинальных реформ, была чужда Николаю Тургеневу.

Пройдет несколько лет — и Пушкин поймет несбыточность своих иллюзий. 21 мая 1834 года он запишет в дневнике чье-то (а скорее всего свое собственное) мнение о Николае I: «В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого» (XII, 330; подлинник по-французски).

¹⁵ Там же, № 232, л. 56—57.

Пушкину приходилось жить под властью этого «прапорщика». И часто становилось невмоготу. Особенно его беспокоили журнальные дела, где тон задавал Фаддей Булгарин: это было нестерпимо. И вот с 1830 года в Петербурге стала выходить «Литературная газета» Дельвига; ближайшие помощники издателя — Пушкин и Вяземский.

25 апреля Вяземский писал Александру Ивановичу: «Посылаю тебе, любезнейший друг, от Дельвига его „Газету“ и седьмую песню „Онегина“. В „Газете“ означил я имена авторов над некоторыми статьями. <...> Пиши литературные письма для „Газеты“ нашей и присылай ко мне; пиши, хотя не письма, а так, кидай на бумагу свои литературные впечатления и пересылай ко мне, а мы здесь это сошьем. Надобно же оживлять „Газету“, чтобы морить „Пчелу“-пьявку,¹⁶ чтобы поддержать хотя один честный журнал в России».¹⁷

Среди раскрытых анонимных статей «Литературной газеты» — статьи Пушкина, Вяземского, Дельвига. То, что было секретом для публики, петербургские друзья не скрывали от Александра Ивановича.

«Поблагодари Дельвига за журнал, — отвечал Тургенев. — Право, давно не читал такой занимательной газеты. В ней столько оригинальных статей: твои, Пушкина, Дельвига и другие можно прочесть и перечесть, хотя во многом я и не согласен с тобою. Как много знаете вы о нас, европейцах! <...> Не успею кончить письма, в котором хотелось дать тебе понятие о некоторых авторах и авторшах, и книгах, и проектах, кои теперь занимают меня, и отблагодарить Дельвига за „Газету“ отчетом о всем том, что вижу, слышу я в Париже».¹⁸

Политические события во Франции нарушили его планы; началась Июльская революция 1830 года, и печатать корреспонденции из Парижа стало невыносимо.

С декабря 1830 года Александр Иванович снова в Лондоне; в тишине полутемных кабинетов клуба «Атеней» он проводит многие часы за чтением газет, журналов, брошюр; его дневник пестрит то краткими, то пространными выписками из прочитанного. Появляются извлечения из

¹⁶ «Пчела»-пьявка — полуофициозная газета «Северная пчела», издававшаяся Ф. Булгариным.

¹⁷ ОА, т. 3, с. 192—194.

¹⁸ Там же, с. 202—207.

книги Роберта Саути об английской литературе. Вслед за строками о том, что время между творениями Драйдена и Попа (конец XVII и начало XVIII века) было темным веком английской поэзии, размышление Александра Ивановича: «В этой характеристике мрачной эпохи английской поэзии едва ли нет большего сходства с нашею эпохою в русской литературе, если исключить Жук<овского>, Пуш<кина> — истинных поэтов».¹⁹

Теперь, из исторического отдаления, когда канули в Лету булгарины и гречи, нам, потомкам, это время представляется эпохой Пушкина. Не такой она была в сознании современников, даже наиболее проницательных. Они видели, как процветают продажные литераторы, как унижены истинные таланты.

Тем радостнее были дни, когда посылки с книгами приходили из России; вопреки всему твердо стояли Пушкин, Жуковский, Вяземский, Баратынский.

Один из таких счастливых дней пришлось на февраль 1831 года; на столе Александра Ивановича появилась стопка русских книг: «Борис Годунов», стихотворения Пушкина, альманахи «Северные цветы» и «Альциона». Александр Иванович погрузился в чтение.

Не как бесстрастный ценитель изящного, а как человек, вовлеченный в бурные события своего времени, читал Тургенев произведения Пушкина. Вот выписки Александра Ивановича из монолога Пимена:

Недаром многих лет
Свидетелем господь меня поставил
И книжному искусству вразумил;
.....
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу;
.....
Минувшее проходит предо мною —
Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуясь как море-окиян?

Сравните эти строки с полным текстом монолога, обратите внимание на то, что опущено, и вы поймете, как лично воспринимал лондонский «летописец» призна-

¹⁹ ИРЛИ, ф. 309, № 325, л. 13.

ния Пимена. Это, он, Александр Иванович, а не давно почивший монах, повторил от своего имени строки, думая о горестных событиях последних лет. Недаром сразу же за приведенными стихами он выписал строку из ответа Пимена Григорию:

Кромешники в тафьях²⁰ и власяницах.

О «кромешниках» XIX века думал Александр Иванович за чтением «Бориса Годунова».

«Кн. Шуйский о перевозке тела Дим<итрия> из Углича в Москву

Не скажут ли, что мы святыню дерзко
В делах мирских орудием творим?

Не скажут ли сего о манифестах — с Русским богом,
о министр<естве> Франц<ии> во время Карла X:

они святыню дерзко
В делах мирских орудием творят».²¹

Возмущением кипит ответ Александра Ивановича на риторический вопрос Шуйского. Там, в трагедии — уловка лукавого царедворца, здесь, на страницах лондонского дневника, — обвинение в святотатстве двух монархов: Николая I, «божиею милостию» (этими словами начинались все царские манифесты) утвердившего приговор по делу декабристов, и Карла X, освящавшего именем бога нарушения французской конституции.

Вслед за «Борисом Годуновым» Тургенев принялся читать «Северные цветы». Его выписка:

Поэту

Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум. Пушкин.

Анониму, Пушкин.

К доброжелательству досель я не привык.

Монастырь на Казбеке, Пушкин.

Высоко над семьею гор,

²⁰ Тафья — маленькая круглая шапочка, род ермолки, плотно закрывающая макушку головы; монашеский головной убор. Кромешник — опричник.

²¹ ИРЛИ, ф. 309, № 325, л. 39 об.

Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине,
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне». ²²

Как выразительна эта пристрастная, субъективная «мозаика»! Строки из различных стихотворений звучат в унисон, составляют стройную гамму переживаний. Эта «мозаика» является объективным документом читательской психологии, позволяющим судить, какие ответные токи возбуждала поэзия Пушкина у его современников.

Далее в дневнике А. И. Тургенева выписки из томика стихотворений Пушкина:

«Пушкин, часть II, *Шенье*:

Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет

Недаром темною стезей
Я проходил пустыню мира. ²³

Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло.
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило. ²⁴

в октябре 1825? года пророк — Пушкин писал:

Запомните ж поэта предсказанье:
Промчится год, и с вами снова я,
Исполнится завет моих мечтаний:
Промчится год, и я явлюся к вам.

В самом деле явился к друзьям своим, в числе коих не пашел — Пущина.

Но и Пушкин написал *Стансы* в 1827 году! В чем они видят Петра Великого? Зачем сравнивать бывших друзей сибирских с стрельцами? Стрельцы были запоздалые в веке Петра: эта ли черта отличает бунт П<етер>бургский?» ²⁵

В отзыве Александра Ивановича на «Стансы» обнаруживается трагизм положения Пушкина; даже такой доброжелательный друг, у которого не было и тени сомнения в чистоте его нравственного облика, считал это стихотвор-

²² ИРЛИ, ф. 309, № 325, л. 40.

²³ Из стихотворения «Козлову по получению от него „Чернец“».

²⁴ Из стихотворения «Если жизнь тебя обманет...»

²⁵ ИРЛИ, ф. 309, № 325, л. 40 об.

ное обращение ошибкой. Тот, чья рука не дрогнула благословить приговор декабристам, — передовым людям своего поколения, — не станет вровень с Петром I — таково было твердое убеждение Александра Ивановича. Многому его научила и неудача хлопот за брата; он понял, что надеяться на великодушные Николая I бессмысленно, что судьба брата и его соратников решена на долгие годы. Что же было делать? Помогать пострадавшим и опровергать официальную лживую версию, очищать от наветов доброе имя патриотов, дерзнувших выступить против абсолютизма.

Четверть века спустя Герцен печатным опровержением доклада следственной комиссии по делу декабристов завершит многолетнюю устную пропаганду Тургенева в европейских салонах. Александру Ивановичу не довелось дожить до гневной отповеди Герцена царским «законникам»; как бы он ликовал, если его радовали даже краткие упоминания о декабристах. 24 января 1831 года во французской газете, «*Constitutionnel*» было напечатано письмо из Польши. Автор письма (оно опубликовано анонимно) от имени поляков предлагал русским совместно бороться с Николаем I: «Окровавленные тени Пестеля, Рылеева и Муравьева взывают к вам».²⁶ — восклицал автор письма. И вот газета в руках у Александра Ивановича; в его дневнике появляется запись о том, что «начинают уже славить имена наших — погибших...»²⁷

Вскоре Тургенев придет в Россию и с волнением будет читать потаенные стихи Пушкина.

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

В заграничных дневниках Тургенева то здесь, то там мелькают имя Пушкина и строки стихов его. Пушкин «сопутствовал» Александру Тургеневу в его скитаниях; поэзия Пушкина помогала Тургеневу влачить тягостные дни полудобровольного изгнания. Случалось ему и спорить мысленно с поэтом. Но разве дружба исключает споры?

²⁶ «*Constitutionnel*», 1831, 24 janvier.

²⁷ ИРЛИ, ф. 309, № 325, л. 20 об. Запись от 28 января 1831 г.

А. И. Тургенев вернулся на родину в первых числах июня 1830 года. Проездом в Москву он ненадолго задержался в столице; тут и привелось увидеться с Пушкиным после одиннадцатилетней разлуки; встреча была краткой, где-то на людях, поговорить по душам не удалось.

«Мне иногда очень грустно, что в деятельную, решительную эпоху его жизни мы не встретились и даже в эпоху моего душевного и интеллектуального возраста — виделись мы только на час, ночью, не успели ни высказать себя, ни проститься, — сетовал Александр Иванович Жуковскому. — Где он будет зимовать? В Царском или в Петербурге? Здесь перестали морить его. Скажи ему, что я все еще оправдываю стих его — „и сплю“ — есть ли не у графа де Лаваль, то в театре за переименованным Потье. Недавно всхрапнул и рассмешил дам, лучше французских шуток актера».¹

Тургенев намекает на старину, на давнишнее послание 1817 года, в котором Пушкин писал ему:

Ленивец милый на Парнасе,
Забыв любви своей печаль,
С улыбкой дремлешь в Арзамасе
И спишь у графа де Лаваль.

¹ ИРЛИ, ф. 309, № 4714. — О Пушкине и семье графа де Лаваль см.: Вайнштейн А. Л., Павлова В. П. К истории личности Пушкина «Гости съезжались на дачу...». — Временник Пушкинской комиссии. 1966. Л., 1969, с. 36—43.

Вечная суэта утомляла Тургенева. Задремать в гостях, сидя в удобных вольтеровских креслах, или в театральной ложе с давних пор было свойственно Александру Ивановичу.

Время не поколебало его дружеской приязни к Пушкину, а мимолетная встреча в Петербурге воскресила прошлое и возбудила живейший интерес Тургенева к творческим замыслам поэта. 14 сентября 1831 года Александр Иванович просил Жуковского: «Обними историографа Петра 1-го, так прошел здесь о нем слух, но только слух. Скажи ему, что одна из рукописей о Петре I (на немецком), о коей Карамзин так выгодно отзывался, есть у меня; что не худо иметь и сербскую его биографию, в Венеции в двух частях вышедшую, и кое-что другое, о чем нужно справиться с моим архивом и с журналами. Все к его услугам; но как выбрать из громады, которую теперь начинаю приводить в порядок?»²

Ученик известных немецких ученых Шлецера (издателя Несторовой летописи) и Геерена, Александр Иванович со студенческой скамьи пристрастился к историческим дисциплинам. Археографические разыскания, которыми заполнена вторая половина жизни Тургенева, стали прочным связующим звеном между ним и Пушкиным. Ведь общие духовные интересы сильнее сближают людей, нежели случайные симпатии или иные жизненные обстоятельства.

В свое время Александр Иванович добывал исторические документы для Карамзина. Теперь, когда историографом стал Пушкин, Тургенев спешит ему на помощь. 16 сентября 1831 года Тургенев — Жуковскому: «Для биографа Пушкина нужен и журнал Шотландца, служившего у нас с младенчества и вряд ли не до кончины. У меня копия с него в Лондоне, здесь в Архиве оригинал и в Петербурге у меня оглавление оногo».³

Пушкина заинтересовал этот источник. Он получил выписку из немецкого рукописного перевода дневника

² ИРЛИ, ф. 309, № 4714. — Сербская биография Петра I — это «Житие и славные дела государя императора Петра Великого... Ныне первее на Славенском языке списана и издана. В Типографии Димитрия Феодосия. 1772». В библиотеке Пушкина сохранился второй том этого издания.

³ Там же. — Тургенев имеет в виду московский архив Коллегии иностранных дел.

Гордона; позднее поэт встречался с Д. Е. Келлером, который в 1836 году переводил этот дневник с английского оригинала на русский.

О замысле Пушкина пошли толки в обществе; 23 октября Тургенев занес в дневник: «Разговор о Пушкине и Петре I с Уваровым, с князем Голицыным и внимание других к словам нашим» (126).⁴ Вскоре Тургеневу довелось разговаривать об этом замысле уже с самим Пушкиным, который в начале декабря приехал в Москву.

«8 декабря <...> Был у Пушкина и разговаривал о Петре I» (126). Запись предельно кратка. По-видимому, Пушкин рассказывал о том, как он воспринимает фигуру царя-преобразователя. «Кланяйся Пушкину: он обещал написать мне с оказией: напомни ему, — просил Тургенев Вяземского 25 января 1832 года. — Скажи, что я слушал в Историческом обществе — вступление в историю Петра I Свиньина и Архивские замечания на оное Малиповского и прагматические Антона Антоновского. Жалею, что и я сделал одно: о мужественном виде младенца — Петра. — Исправлять не должно Гения-писателя».⁵

Речь идет о первых страницах истории Петра I, прочитанных или пересказанных Пушкиным при его встречах с Александром Ивановичем в декабре 1831 года. Во время беседы Тургенев сделал замечание и теперь винил себя за него; он надеялся, что Вяземский передаст Пушкину его сожаление, и, скорее всего, оно дошло по адресу.

Вспоминать о необдуманном замечании было тем обиднее, что Александр Иванович твердо верил в «гения-писателя», в его грядущий успех историка; три года спустя он занес в дневник свой разговор с Геереном о преподавании истории наследнику русского престола: «Напр. сначала взять Историю Петра Великого, хорошо написанную (т. е. когда напишет ее Пушкин, подумал я)».⁶

Царствование Петра I влекло Пушкина по многим соображениям.

Здесь и попытка расчленить добро и зло, завещанные потомству политикой великого государственного деятеля, раздумья над истинным значением петровских реформ.

⁴ Дневниковые записи за 1831—1834 годы взяты из моей статьи «Пушкин в дневниках А. И. Тургенева». — РЛ, 1964, № 1, с. 125—134 (страницы указываются в тексте, в скобках).

⁵ Архив братьев Тургеневых, вып. 6. Пг., 1921, стр. 89.

⁶ ИРЛИ, ф. 309, № 305, л. 57. Запись от 21 июля 1834 г.

Здесь и настойчивая, неотвязная мысль о судьбе старинных дворянских родов, униженных крутым самовластием Петра I, табель о рангах, ненавистная Пушкину тем, что она открыла доступ в дворянское сословие выходцам из других слоев общества.

Здесь и тема милосердия, опрокинутая в историческое прошлое.

«Стансы», «Пир Петра Первого», «Полтава», «Моя родословная», «Арап Петра Великого», «Медный всадник», «История Петра» — без преувеличения можно утверждать, что со второй половины 1820-х годов Петр I становится неизменным спутником Пушкина.

Вслед за словами о Петре I в дневнике Тургенева записано: «Вечер у Вяземского с Пушкиным». Разговор с ним и с Вяземским об Англии, Франции, их авторах, их интеллектуальной жизни и пр.: и они моею жизнью на минуту оживились...» (126).

В Париже Тургенев посещал литературные и политические салоны. С Шатобрианом, патриархом французской словесности, он часто встречался в гостеприимном салоне мадам Рекамье; их беседы были живыми и увлекательными. Теперь, в Москве, Александр Иванович «с чувством, с толком, с расстановкой» рассказывал о знаменитом старце. Когда позднее Пушкин писал статью «О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“», он, конечно, знал о «первом из современных французских писателей» значительно больше того, что мог прочесть из книг; в импровизациях Александра Ивановича перед ним вставал живой Шатобриан.

Разговоры нараспашку с Мериме и Стендалем, приемы у Альбертины Бройль (дочери мадам де Сталь), посещение лекций Кювье по истории точных наук, беседы с историками Минье, Сисмонди, Сент-Олером, Баланшем, с ориенталистами Ремюза, Жомаром, со многими литераторами, учеными, политическими деятелями Франции, — Александру Ивановичу было о чем вспоминать.

Обширен круг английских знакомых Тургенева — писатели Вальтер Скотт, Томас Мур, Роберт Саути, государственные деятели маркиз Лансдоун, Генри Брум, Роберт Вильсон, историк и публицист Джеймс Макинтош, филантропы Маколей и Вильберфорс и многие, многие дру

гие. Александр Иванович присутствовал на бурных заседаниях английского парламента, посещал научные общества. В пестром калейдоскопе его воспоминаний мелькали десятки лиц, книги по различным отраслям знаний, брошюры политические и религиозные, журналы, газеты...

Далее под той же датой 8 декабря мы читаем запись: «Спор Вяземского с Пушкиным»: оба правы» (126). Последние два слова Тургенев зачеркнул. Почему? По-видимому, он сильно колебался во время спора Пушкина с Вяземским, и не только во время спора, но и придя домой, и занося в дневник свои впечатления о прожитом дне, Александр Иванович продолжал колебаться. О чем же спорили Вяземский и Пушкин?

Спор шел о польско-русских отношениях. Несколько лет спустя, вспоминая эти словесные схватки, Тургенев писал в дневнике: «...князь Гагарин», который опять повторил, что я один, по чувству христианскому, понимаю Европу, один — один из русских, но что многим во мне недоволен. — О Вяземском». «Камергер Пушкин теперь в отставке». Я объяснил ему и Вяземского о Пушкине и их отношения. Вяземский не поддавался ему; не во всем с ним соглашался, а спорил часто; например, на Польшу в Москве против Пушкина и Денкиса Давыдова — соглашаясь со мною».⁷

Начало 1830-х годов — время, когда Пушкин с обостренным вниманием следил за европейскими событиями. Во встречах с иностранными дипломатами в салоне Фикельмон, в переписке с Елизаветой Михайловной Хитрово, и получаемых через ее посредство французских газетах и брошюрах черпал Пушкин разнообразную информацию делах Западной Европы. 21 августа 1830 года Пушкин писал из Москвы Е. М. Хитрово: «Как я должен благодарить Вас, сударыня, за любезность, с которой Вы уведомляете меня хоть немного о том, что происходит в Европе! Здесь никто не получает французских газет, а что касается политических суждений обо всем происшедшем,

ИРЛИ, ф. 309, № 319, л. 138 об. Запись от 31. III. 1842 г. — князь Гагарин — скорее всего Иван Сергеевич (1814—1882), принявший в 1842 г. католичество. Не ясна фраза, сказанная им: «Камергер Пушкин теперь в отставке». Гагарин спутал звание Пушкина, но это не столь существенно; главное, что он имел в виду. Надо думать, что он подчеркивал недостаточное внимание современников к памяти поэта.

то Английский клуб решил, что князь Дмитрий Голицын был не прав, издав ордонанс о запрещении игры в экарте. И среди этих-то орангутангов я осужден жить в самое интересное время нашего века!» (XIV, 415; подлинник по-французски).⁸

Сохранились далеко не все письма Е. М. Хитрово к Пушкину за эти годы.⁹ Между тем сведения, сообщаемые ею, помогали Пушкину разбираться во французских делах, уточняли отношение русского правительства к Июльской революции и режиму Луи-Филиппа, освещали политические события и в других странах Западной Европы. В какой-то мере восполнить отсутствующие письма Е. М. Хитрово может дневник ее дочери — Д. Ф. Фикельмон.

Записки Д. Ф. Фикельмон о Пушкине стали известны в 1950-е годы; они были опубликованы как в отечественных, так и в зарубежных изданиях. Недавно появился связный текст ее дневника за 1829—1831 годы.¹⁰

Долли Фикельмон родилась 14 октября 1804 года. Ее отец Федор Иванович Тизенгаузен пал в Аустерлицком сражении. Детство Долли прошло в Прибалтике, где она жила у родственников отца. Ее мать Елизавета Михайловна, дочь фельдмаршала Кутузова, в 1811 году второй раз вышла замуж; ее супругом стал генерал-майор Н. М. Хитрово, русский поверенный во Флоренции. С дочерью Екатериной и Долли Елизавета Михайловна уехала в Италию. Н. М. Хитрово скончался в 1819 году. Елизавета Михайловна осталась с детьми за границей.

3 июня 1821 года Долли вышла замуж за графа Карла-Людвига Фикельмона (1777—1857), будущего австрийского посла в России. Граф Фикельмон был высокообразованным человеком, и естественно, что Долли подпала под его сильное интеллектуальное влияние. По его советам она читала сочинения Саллюстия и Цицерона, Данте

⁸ Подробнее об этом см.: Томашевский Б. В. Пушкин и Июльская революция 1830 г. (Французские дела 1830—1831 гг. в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово); Беляев М. Д. Польское восстание по письмам Пушкина к Е. М. Хитрово. — В кн.: Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. Л., 1927.

⁹ Анализ переписки и отношений Пушкина с Е. М. Хитрово см.: Измайлов Н. В. Пушкин и Е. М. Хитрово. — Там же, с. 143—304.

¹⁰ Kauchtschischwili N. Il diario di Dar'ja Fëdorovna Fiquelmont. Milano, 1968.

и Петрарки, Гете и Шиллера, Новалиса и Гофмана, Мильтона и Байрона, Шатобриана и Ламартина, Бенжамена Констана и мадам де Сталь...

Первые известия об Июльской революции 1830 года Пушкин получил еще в Петербурге; он выехал в Москву 10 августа 1830 года, а уже в начале месяца французские события горячо обсуждались в гостиных столицы. Долли Фикельмон записала 15 августа: «В течение двух недель нет иных разговоров, иных мыслей, как о французской революции. События произошли так быстро, избрание Филиппа I так скоро последовало за отречением Карла X, что не было времени поразмыслить; во время этих огромных событий народ Парижа показал себя настолько просвещенным, таким полным единой воли, храбрости и мудрости, что им можно лишь восхищаться».¹¹

Европа продолжала бурлить. 6 ноября 1830 года Долли заносит в дневник: «Общество все еще объято смертельной тоской; ныне единственный дом, где при встречах проскальзывает немного веселости, это наш: вторники и пятницы¹² проходят очень хорошо, но разговоры постоянно весьма серьезные: европейские события не таковы, чтобы веселить умы. Все в равной мере озабочены, ибо дело не только во французской революции и полном потрясении Бельгии; последствия, которые они могут иметь для всей Европы, вот что вызывает трепет. Опасение войны, которая вскоре же может стать всеобщей, вот что заставляет содрогаться!

Мы, возможно, накануне какого-то насильственного порелома, который невозможно предвидеть, но который представляется неизбежным, когда наблюдаешь брожение, вид помешательства, овладевший всеми умами: повсюду недостаток покоя и удовлетворения; среди молодежи нет более религиозного чувства, но дух восстания против Неба, равно как и против всех земных властей; потребность расторгнуть все связи, все, что напоминает сдерживающее начало; перед французской революцией¹³

¹¹ Здесь и далее цитаты из дневника Д. Ф. Фикельмон даны в переводе, напечатанном в статье: Гиллельсон М. И. Пушкин в итальянском издании дневника Д. Ф. Фикельмон. — Временник Пушкинской комиссии. 1967—1968. Л. 1970, с. 14—32.

¹² Приемные дни в салоне Фикельмон.

¹³ Фикельмон имеет в виду Великую французскую революцию 1789 года.

была чрезвычайная порча нравов и отвратительная распущенность, которая должна была привести к подрыву основ общества и к великим несчастьям; а в настоящее время — ужасное распутство ума, своеволие идей, невообразимое моральное бесчинство, чувство возмущения против всех старинных учений, против всего святого, всего спокойного; демон гордости овладел человеком, и он полагает себя более сильным, чем Небо; это новая война *Титанов*».

Оценка исторических событий дана Долли Фикельмон с исключительной проницательностью. Конечно, в широте охвата происходящего сказалась ее всесторонняя образованность. Но эрудиция сама по себе, при всей ее основательности, не была достаточной для того, чтобы почувствовать неотвратимость разрушения старого мира. Только острая историческая интуиция, сплавившая воедино знания того, что было, с тем, что происходило у нее на глазах, позволила ей предвидеть будущее. Она поняла, что порвалась «связь времен», что потерпело крушение авторитарное сознание, что происходит распад исконных нравственных начал и привычных норм общежития.

Вспомним, что именно в эти годы Лермонтов писал первые редакции своей богоборческой поэмы; его Демон «жег печатью роковой Все то, к чему ни прикасался», его герой «жил не веря ничему И ничего не признавая». Лермонтов не читал дневника Долли Фикельмон, внучки Кутузова, ставшей волею судеб хозяйкой иностранного дипломатического салона. Тем разительнее близость их мыслей. Правда, оценка событий у них различна: Долли Фикельмон порицает войну Титанов, Лермонтов прославляет «дух отрицанья, дух сомненья».

Записи Долли Фикельмон — исповедь человека незаурядного. Мы прочли ее дневник и убеждены теперь в том, что в окружении Пушкина находилась женщина острого ума, женщина, предсказавшая социальные катаклизмы. Как относился Пушкин к ее прорицаниям, мы не знаем; но вряд ли можно сомневаться в том, что они были ему известны; ведь историко-философские вопросы не раз являлись предметом оживленных споров в салоне австрийского посла. До последнего времени предполагалось, что участниками подобных бесед были Пушкин, Вяземский, Тургенев и граф Фикельмон; теперь в круг этих имен необходимо включить хозяйку салона; по своему интел-

лектуальному уровню Долли жила «с веком наравне», она была достойной собеседницей Пушкина и его друзей.¹⁴

Свидетельства современников — Александра Тургенева, Долли Фикельмон — показывают нам, какой напряженной умственной жизнью жили писатели пушкинского круга.

Меж ими все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду,
Все подвергалось их суду.

Так писал Пушкин об Онегине и Ленском; так он мог написать о себе и своих друзьях. Споры влекли к размышлениям; размышления вызывали новые споры.

«10 декабря <1831>... Солдан зовет меня и Пушкина на спектакль и на вечер: день рождения Марии! Поеду!!.. Вечер в спектакле и на бале у Солдан и до 6-го часа утра! Ужинали с Шереметевой, слушал Пушкина и радовался отрывкам 8-й песни Онегина!

Когда я ему сказал à propos танцев моих, по отъезде императора»<ора>, стих его: «Я не рожден царей забавить» — Пушкин прибавил: «Парижской легкостью своей!» (127).

Александр Иванович ведет нас на бал к Вере Яковлевне Сольдейн. Хозяйке дома сорок лет. Она вдова генерал-майора Христофора Федоровича Сольдейна, музыканта, любителя литературы. По свидетельству современников в доме Сольдейн собирались молодые люди любившие пофилософствовать, побеседовать о книжных новинках, поспорить о театральной премьере. Бывал там и Пушкин.

Какая удача для немецкой литературы, что рядом с Гете находился Эккерман, записывавший его беседы;

¹⁴ Подробнее о Д. Ф. Фикельмон см.: Цявловский М. Пушкин и графиня Д. Ф. Фикельмон. — «Голос минувшего», 1922, № 2, с. 108—128; Хмелевская Е. М. Из дневника графини Д. Ф. Фикельмон. — Пушкин. Исследования и материалы, т. I. М. Л., 1956, с. 343—350; Измайлов Н. В. Пушкин в переписке и дневниках современников. — Временник Пушкинской комиссии. 1962. М.—Л., 1963, с. 32—37; Раевский Н. Портреты заговорили. Алма-Ата, 1974.

как досадно, что не случился русский Эккерман рядом с Пушкиным. Тем ценнее отрывки разговоров, которые сохранили нам письма, дневники и воспоминания его друзей. Экспромт Пушкина на бале у Сольдейн — истинная находка для потомства. Поясним.

К 1818 году передовые русские люди полностью распознали лицемерие Александра I. Образование Священного союза и возвышение Аракчеева завершили отчуждение между царем и свободолобивой молодежью. Возник план государственного переворота. На русский престол прочили императрицу Елизавету Алексеевну, Пушкин написал ей восторженный дифирамб; он был напечатан в 1819 году в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения». Цензура не посмела запретить стихотворение, прославлявшее императрицу. А стихи были смелые и независимые.

Свободу лишь учася славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой Музою моей.

Любовь и тайная Свобода
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

Стихи Пушкина были на устах у всех, и не мудрено, что они запомнились Тургеневу. Строчку «Я не рожден царей забавить» вспомнил он весьма кстати. Его полуопальное положение было известно. Присутствие на балу Николая I тяготило Тургенева. Александр Иванович привнес горький автобиографический подтекст в стих Пушкина. Поэт понял его душевное состояние и, желая ободрить его, перефразировал собственный стих:

Я не рожден царей забавить
Парижской легкостью своей.

В устах Пушкина «парижская легкость» Тургенева означала его подвижность, его острый интерес ко всем проявлениям умственной жизни во французской столице.

«18 декабря <...> Заезжал к Пушк<ину> и разбирал библиотеку...

Одну Россию в мире видя,
Преследуя свой идеал,
Хромой Тургенев им внимал,
И плети рабства ненавидя
Предвидя в сей толпе дворян
Освободителей крестьян.

Поэт угадал: одну мысль брат имел: одно и видел, но
и поэт увеличил: где видел брат эту толпу? пять, шесть —
и только!» (127).

«24 декабря. Проводил Пкушкина), слышал из
и песни Онегина и заключение: „прелестно“» (127).

Сведения о творческой истории последних глав «Евге-
ния Онегина» крайне скудны. Поэтому каждый новый
документ на вес золота; поэтому дневниковые записи
Тургенева представляют первостепенный интерес.

В начале 1828 года появились в продаже четвертая
и пятая главы «Евгения Онегина», изданные в одной
книжке, а два месяца спустя — шестая глава; в конце ее
стояло: «Конец первой части». По-видимому, в то время
Пушкин предполагал написать еще шесть глав, которые
составили бы вторую часть романа. М. В. Юзефович,
встречавший поэта летом 1829 года, вспоминал о беседах
Пушкина с друзьями: «Он объяснял нам довольно под-
робно все, что входило в первоначальный замысел, по
которому, между прочим, Онегин должен был или
погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабри-
стов».¹⁵

Дальнейшая судьба Онегина и была бы рассказана
и последних главах романа.

Отмена «чугунного» цензурного устава 1826 года (но-
вый устав был утвержден весной 1828 года) создала иллю-
зию ослабления цензурного гнета. Были у Пушкина и
другие иллюзии; он надеялся, что Николай I амнистирует
декабристов и осуществит прогрессивные государственные
реформы. В этих условиях могло стать возможным обра-
щение к недавней истории и изображение в романе не-
приглядных черт минувшего царствования. Между тем
время шло, иллюзии исчезали; надежды на великодушные
царя и на дальновидность его политического курса не
оправдались, и Пушкин вынужден был урезать замысел
«Евгения Онегина», приноровляясь к реальным цензур-

ным условиям. В марте 1830 года появилась седьмая глава романа, а в январе 1832 года — восьмая глава, ставшая последней.

На самом деле по авторскому счету опубликованная восьмая глава была девятой, и в кругу друзей Пушкин читал последние главы в той последовательности, как он их писал.

Свидетельства Тургенева вызывают ряд вопросов. Что он именуется заключением романа? Не десятую ли сожженную главу? Такому предположению противоречит позднейшее письмо Александра Ивановича к брату. 11 августа 1832 года он писал из Мюнхена в Париж: «Александр Пушкин не мог издать одной части своего Онегина, где он описывает путешествие его по России и упоминает, между прочим, и о тебе <...> В этой части у него есть прелестные характеристики русских и России, но она останется надолго под спудом. Он читал мне в Москве только отрывки».¹⁶

Итак, декабристские строки входили в «Путешествие Онегина», то есть в первоначальную восьмую главу. Затем Пушкин решил «обезвредить» «Путешествие Онегина», выделив декабристскую хронику и некоторые другие строфы в десятую главу. Это предположение подтверждается бумагами Пушкина: одна из первых строф «Путешествия Онегина» («Наскуча щеголять Мельмотом...») в рукописи зачеркнута и сбоку приписано: «в X песнь».¹⁷

Александр Иванович сообщил стихи брату в Париж и против строки «Хромой Тургенев им внимал» добавил от себя: «т. е. заговорщикам; я сказал ему, что ты и не внимал и не знал их». Александр Иванович был уверен,

¹⁶ ЖМНП, 1913, Нов. серия, ч. XLIV, март, отд. 2, с. 17.

¹⁷ О десятой главе «Евгения Онегина» см.: Томашевский Б. В. Десятая глава «Евгения Онегина». — ЛН, т. 16—18, с. 379—420; Гессен С. Источники десятой главы «Евгения Онегина», — В кн.: Декабристы и их время, т. II. М., 1932, с. 130—160; Гербстман А. И. Судьба десятой главы «Евгения Онегина». — Учен. зап. Казахского ун-та, т. XXV, Язык и литература. Алма-Ата, 1957, с. 109—122; он же. К вопросу о сюжете «Евгения Онегина». — Учен. зап. Казахского ун-та, каф. русской и зарубежной литературы. вып. 1. Алма-Ата, 1957, с. 3—7; Дьяконов И. М. О восьмой, девятой и десятой главах «Евгения Онегина». — РЛ, 1963, № 3, с. 37—61; Цявловская Т. Г. Новые автографы Пушкина на русском издании «Айвенго» Вальтера Скотта. — Временник Пушкинской комиссии. 1963, М.—Л., 1966, с. 25—28.

что его брат, уехавший за границу в 1824 году, не ответствен за выступление декабристов на Сенатской площади.

Оценки современников и потомства часто не сходятся между собою. Мы воспринимаем строки Пушкина о Николае Тургеневе как дань уважения к декабристу-изгнаннику. Но сам он, виновник этой строфы, судил иначе; по его мнению, поэт поступил неосмотрительно, включая в роман строфы о декабристах: «Если те, кои были несчастливей меня и погибли, не имели лучших прав на цивилизацию, нежели Пушкин, то они приобрели иные права пожертвованиями и страданиями, кои и их ставят выше суждений их соотечественников».¹⁸ Декабрист Тургенев считал Пушкина некомпетентным вершить суд истории.

Николай Тургенев ошибся. Он недооценил гигантского возмужания Пушкина за время их разлуки. Даже в том виде, в каком дошли до нас декабристские строфы романа, они изобличают глубокий и верный взгляд на деятелей 14 декабря, на значение их подвига для исторических судеб России. Поэт, считавший декабристов своими «друзьями, братьями, товарищами», воздвиг им бессмертный памятник и в послании «Во глубине сибирских руд» и в декабристских строфах романа в стихах.

От Петра I до восстания на Сенатской площади — таков диапазон Пушкина-историка. И в каком бы жанре он ни писал — будь то стихи или проза, исторический роман или летопись событий — всюду мы ощущаем неистребимое желание писателя соединить прошлое с современностью, осветить светильником истории настоящее и будущее.

¹⁸ ЖМНП, 1913. Нов. серия, ч. XLIV, март, отд. 2, стр. 18.

Проблема «Россия и Запад» возникла в начале XVII века как неизбежное следствие усиления экономических связей России со странами Западной Европы. Первые западники: И. А. Хворостинин, «отдаленный духовный предок Чаадаева», по определению В. О. Ключевского, В. А. Ордин-Нащокин, Г. К. Котошихин, ранний идеолог панславизма Юрий Крижанич — таковы наиболее известные деятели, жизнь и сочинения которых неотделимы от этой кардинальной проблемы русского общественного сознания в XVII веке.

Петровское время дало новый толчок для уяснения и развития мыслей об отношении России к Западной Европе. Среди западников начала XVIII века мы встречаем и противников Петра I (В. В. Голицын) и его сторонников — участников «ученой дружины» (Ф. Прокопович, В. Н. Татищев, А. Д. Кантемир). В дальнейшем возникает вопрос, «каково должно быть отношение России к Западу на основе Петровской реформы».¹ Движение страны по пути, начертанному Петром I, превратило ее в мощную державу, и на вопрос о необходимости усвоения Россией западной цивилизации русские мыслители второй половины XVIII века отвечали не столь категорично, как их предшественники. В высказываниях Д. И. Фонвизина, И. Н. Болтина, М. М. Щербатова появляется критический взгляд на многие стороны жизни

Плеханов Г. В. Сочинения, т. XXII, М.—Л., 1925, с. 93.

Западной Европы. Резко колеблется позиция Карамзина — от прозападнических «Писем русского путешественника» до антипетровской «Записки о древней и новой России» (1811) и затем апологии Петра I в его речи в Российской академии (1818).

Общественные потрясения начала XIX века привели к обострению споров по проблеме «Россия и Запад». Тогда же возникает термин «славенофил», примененный к А. С. Шишкову и другим членам «Беседы». Ю. З. Янковский, автор книги «Из истории русской общественной мысли 40—50-х годов XIX столетия» (1972), посвятил целую главу («У истоков») изучению элементов славянофильской идеологии в эти годы. По сути дела формирование славянофильских настроений в начале XIX века прослежено в труде П. Христофа «Третье сердце».² Но в обоих этих исследованиях почти полностью обойдены 1830-е годы, которые непосредственно предшествовали расцвету славянофильства и западничества.

1 мая 1835 года Чаадаев сообщал А. И. Тургеневу о новой пьесе Н. В. Кукольника «Скопин-Шуйский»: «Вам известно, что этот Скопин Шуйский одно из замечательнейших явлений нашей истории, единственное, быть может, по своему размеру на всем протяжении наших летописей. Это цивилизованный герой, герой на западный лад. Между тем в драме не он является первенствующим лицом, а Ляпунов. Этот последний — дикарь, варвар, своей варварской грузностью совершенно подавляющий Шуйского, и он — является великим человеком данного поэтического произведения. Ему, следовательно, аплодисменты, ему фанатизм публики. Вам понятно, куда клонит эта прекрасная концепция. Там есть места, исполненные дикой энергии и направленные против всего, идущего с Запада, против всякого рода цивилизации, а партер этому неистово хлопает! Вот, мой друг, до чего мы дошли».³

Чаадаев имел в виду в первую очередь тираду Ляпунова из второго акта пьесы:

² Christoff P. K. The Third Heart. Some Intellectual—Ideological Currents and Cross Currents in Russia. 1800—1830. The Hague—Paris, 1970.

³ Чаадаев П. Я. Сочинения и письма, т. II. М., 1914, с. 194. Подлинник по-французски.

Да знает ли ваш пресловутый Запад,
Что если Русь восстанет на войну,
То вам почудится седое море,
Что буря гонит на берег противный!..
Мы можем затопить, как наводнение!
Мы можем, как пожар, весь Запад сжечь!
У нас есть Крест, святейший из Крестов!
У нас есть меч, сильнейший из мечей!⁴

С этого времени Чаадаева обуревают мысли о том, что в стране все сильнее возбуждается ненависть к Западной Европе.

Год спустя, весной 1836 года, в Москву приехал Пушкин. И Чаадаев спешит послать ему записку: «Я ждал тебя, любезный друг, вчера, по слову Нащокина, а нынче жду по сердцу. Я пробуду до восьми часов дома, а потом поеду к тебе. В два часа хожу гулять и прихожу в 4. Твой Чаадаев».⁵

Они встретились. Отголоском их беседы явилось письмо Чаадаева к А. И. Тургеневу от 25 мая 1836 года: «У нас здесь Пушкин. Он очень занят Петром Великим. Его книга придется как раз кстати, когда будет разрушено все дело Петра Великого: она явится надгробным словом ему. Вы знаете, что он издает также журнал под названием *Современник*. Современник чего? XVI-го столетия, да и то нет? Странная у нас страсть приравнять себя к остальному свету. Что у нас общего с Европой? Паровая машина, и только».⁶

Трагический исход восстания декабристов и последовавшие вскоре события начала 1830-х годов (революции в Европе, польское восстание) вызвали существенные изменения в общественном сознании, привели к пересмотру исторических, философских, политических и нравственных принципов. Одним из симптомов этого идейного процесса явилась полемика между сторонниками самобытного развития России и мыслителями, пытавшимися привить национальной культуре чужеземные умственные побегии. Десятилетие спустя идейное размежевание приведет к созданию двух антагонистических течений — славянофильства и западничества. Пока же, в 1830-е годы,

⁴ К < у < о < л < ь < н < и < к > Н. Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. СПб., 1835, с. 57.

⁵ Чаадаев П. Я. Сочинения и письма, т. I, с. 190.

⁶ Там же, т. II, с. 205 (подлинник по-французски).

в напряженных спорах писателей пушкинского круга можно обнаружить более сложную и разветвленную «мозаику» мнений.

Разногласия, как обычно бывает в кругу единомышленников, накапливались исподволь, порой обнаруживались расхождения по тем или иным вопросам, и спорящим было невдомек, что частные расхождения могут привести к существенным различиям во взглядах. Между тем разномыслие в историко-философских вопросах оказалось столь глубоким, спор об историческом развитии захватил писателей пушкинского круга с такой силой, что порой можно было даже усомниться в их близости друг к другу.

«Философические письма» Чаадаева, статья Ивана Киреевского «Девятнадцатый век», монография Вяземского «Биографические и литературные записки о Денисе Ивановиче Фонвизине» с рукописными пометами на ней Пушкина и Александра Тургенева, стихотворение Пушкина «Клеветникам России», записные книжки Вяземского, письма Жуковского о запрещении «Европейца», записки Дениса Давыдова о польских событиях 1830—1831 годов — таковы наиболее существенные документы, помогающие нам воскресить небывалый накал идейных споров Пушкина, его друзей и литературных соратников по самым коренным вопросам русского исторического процесса.

22 сентября 1831 года Вяземский записал: «За что *возрождающейся Европе* любить нас? Вносим ли мы хоть грош в казну общего просвещения? Мы тормоз в движениях народов к постепенному усовершенствованию нравственному и политическому. Мы вне *возрождающейся Европы*, а между тем тяготеем на ней...»

Мне так уж надоели эти географические фанфаронады наши: *От Перми до Тавриды* и проч. Что же тут хорошего, чему радоваться и чем хвастаться, что мы лежим в растяжку, что у нас от *мысли до мысли* пять тысяч верст, что физическая Россия — Федора, а нравственная — дура».⁷

Аналогичную мысль высказывал Чаадаев: «Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили.

⁷ Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). Изготовила В. С. Исачева. М., 1963, с. 214.

С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды... <...> Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы».⁸

Невыносимые политические условия николаевской России породили этот мрачный взрыв отчаяния в прозападнических высказываниях Чаадаева и Вяземского. Пристрастна и публицистически заострена философия истории Чаадаева:

«У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это — эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. Народы мечутся тогда возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями; это — необходимая основа всякого общества. Иначе в памяти народов не было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что могли бы любить; они были бы привязаны лишь к праху земли, на которой живут. Этот увлекательный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которую их способности развиваются всего сильнее и память о которой составляет радость и поучение их зрелого возраста. <...> Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, — вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя».⁹

Пушкин последовал совету Чаадаева; окинув взглядом «все прожитые века», он нарисовал картину, отличную от той, которую представил Чаадаев.

⁸ Чаадаев П. Я. Сочинения и письма, т. II., с. 117 (подлинник по-французски).

⁹ Там же, с. 111 (подлинник по-французски).

«Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон?»¹⁰

По мысли Чаадаева, несходство исторических судеб России и стран Западной Европы объяснялось различным характером православия и католичества; в господстве Ватикана видел Чаадаев панацею от всех социальных бед.

«Что мы делали о ту пору, когда в борьбе энергичного варварства северных народов с высокою мыслью христианства складывалась хранина современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания».¹¹

С опровержением этого тезиса выступил Иван Киреевский, утверждавший, что «в России христианская религия была еще чище и святее». Как справедливо полагает Е. Мюллер, эти слова направлены против суждений Чаадаева, который вместе с Бональдом, Балланшем и де Мостром считал схизму виновницей того, что Россия отстала на пути просвещения.¹² Однако дальнейшие рассуждения Е. Мюллера, полагающего, что в словах И. Киреевского нет положительного потенциала, нам представляются спорными. Конечно, эта фраза еще не предполагает развернутой критики католицизма, которая обнаружится в позднейших работах И. Киреевского, но тем не менее в эмбриональной форме здесь высказана мысль о нравственном превосходстве восточной церкви над западной.

¹⁰ Пушкин. Письма последних лет. 1834—1837. Л., 1969, 135—156 (подлинник по-французски).

¹¹ Чаадаев П. Я. Сочинения и письма, т. II, с. 117—118 (подлинник по-французски).

¹² Müller E. Russischer Intellekt in Europäischer Krise. Band V Kireevskij (1806—1856). Köln, 1966, S. 103.

Однако, если православие «чище и святее» католичества, то почему русское просвещение отстало от западноевропейского? Приведем аргументацию И. Киреевского.

«От самого падения Римской империи до наших времен просвещение Европы представляется нам в постепенном развитии и в непрерывной последовательности. Каждая эпоха обуславливается предыдущею, и всегда прежняя заключает в себе семена будущей, так что в каждой из них являются те же стихии, но в полнейшем развитии.

Стихии сии можно подвести к трем началам: 1-е, влияние христианской религии; 2-е, характер, образованность и дух варварских народов, разрушивших Римскую империю; 3-е, остатки древнего мира. Из этих трех начал развилась вся история новейшей Европы.

Которого же из них не доставало нам, или что имели мы лишнего?

Еще прежде десятого века имели мы христианскую религию; были у нас и варвары и, вероятно, те же, которые разрушили Римскую империю; но *классического древнего мира* не доставало нашему развитию. <...> недостаток классического мира был причиною тому, что влияние нашей церкви, во времена необразованные, не было ни так решительно, ни так всемогуще, как влияние церкви римской. Последняя, как центр политического устройства, возбудила одну душу в различных телах и создала таким образом ту крепкую связь христианского мира, которая спасла его от нашествия иноверцев; — у нас сила эта была не столь ощутительна, не столь всемогуща, и Россия, раздробленная на уделы, не связанные духовно, на несколько веков подпала владычеству татар, на долгое время остановивших ее на пути к просвещению».¹³

Взгляды И. Киреевского на современную цивилизацию сложились под воздействием идей французской романтической историографии, и в первую очередь концепции Гизо. Исходя из того же представления об историческом генезисе западноевропейской культуры, что и Гизо, И. Киреевский лишь несколько смещает акценты, усиливая значение и роль классического древнего мира. Отсутствие этого важнейшего, по И. Киреевскому, эле-

¹³ Киреевский И. В. Полн. собр. соч. в двух томах, т. I. М., 1914, с. 98, 100. — Из второй части статьи «Девятнадцатый век», набранной для № 3 «Европейца», который не увидел света, так как журнал был запрещен.

мента лишило русскую образованность цельности и прочности западноевропейской цивилизации.¹⁴

Мысль И. Киреевского о влиянии античности на различие судеб России и Западной Европы разделяется современной наукой. Академик Д. С. Лихачев справедливо полагает, что «это было одной из причин, почему Предвозрождение не перешло у нас в Возрождение...».¹⁵

Оппонентом Чаадаева выступает и Пушкин. У него своя, особая позиция. «У греков мы взяли Евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности и словопрепий. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве. Согласен, что нынешнее наше духовенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу».¹⁶

Это позиция мыслителя, равно видящего теневые стороны и православия, и католичества. А в черновике этого неоправданного письма к Чаадаеву проскользнула мысль, полностью открывающая нам точку зрения Пушкина: «Религия чужда нашим мыслям и нашим привычкам» («*La religion est étrangère à nos pensées, à nos habitudes*»)¹⁷ Этой ёмкой фразой Пушкин отделил свои взгляды от религиозных устремлений западника Чаадаева и будущего славянофила Ивана Киреевского. Пушкин рассматривает историю России под иным углом, не отдавая предпочтения ни западной, ни восточной церкви: «Нет сомнения, что Схизма отъединила нас от остальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое особое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные

¹⁴ Подробнее об этом см.: Müller E. *Russischer Intellekt in Europäischer Krise*, S. 99—106. — О генезисе этой проблемы, поставленной еще Гердером, а в России интересовавшей Веневитинова и Чаадаева, см.: Коурге А. *La philosophie et le problème national en Russie au début du XIX-e siècle*. Paris, 1929, p. 152, 180.

¹⁵ РЛ, 1973, № 4, с. 118.

¹⁶ Пушкин. Письма последних лет, с. 155 (подлинник по-французски).

¹⁷ Там же, с. 198.

границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена».¹⁸ В своем историческом экскурсе Пушкин опирался на высказывания Августа Шлецера.¹⁹

Концепцию Чаадаева Пушкин отвергал. А как он относился к рассуждениям автора статьи «Деятнадцатый век»? Если отвлечься от частного тезиса И. В. Киреевского о нравственном превосходстве восточной церкви, тезиса, выдвинутого мимоходом и не подкрепленного подробной аргументацией, то в целом его концепция должна была импонировать Пушкину. В конце статьи «Деятнадцатый век» И. Киреевский утверждал, что, восприняв плоды европейского просвещения, Россия, в свою очередь, эмансипируется от западного влияния и проявит свое превосходство, имманентно присущее русской народности.²⁰

Полемическим скрещиванием мыслей Чаадаева, Пушкина и Киреевского не исчерпывались споры о России и Западе в пушкинском кругу. Не менее интенсивными были словесные поединки Пушкина, Вяземского и Александра Тургенева, касавшиеся исключительно светской, гражданской проблематики и не затрагивавшие вопроса о преимуществах католичества или православия.

В «Автобиографическом введении» к собранию своих сочинений Вяземский писал, что Пушкин «хотя вовсе не славянофил, примыкал нередко к понятиям, сочувствиям, умозрениям, особенно отчуждениям, так сказать, в самой себе замкнутой России, то есть России, не признающей Европы и забывающей, что она член Европы: то есть допетровской России; я, напротив, вообще держался поня-

¹⁸ Там же, с. 155.

¹⁹ Там же, с. 330 (комментарий В. Э. Вацуру).

²⁰ Е. Мюллер не без основания полагает, что общественный резонанс статьи И. Киреевского «Деятнадцатый век» был бы несравненно глубже, если бы цензурное запрещение третьего номера «Европейца» не помешало появлению в печати второй части этой статьи (E. Müller. Russischer Intellekt in Europäischer Krise, S. 95). Между тем при анализе споров внутри пушкинского круга мы имеем право пользоваться полным текстом статьи «Деятнадцатый век», так как имеется письменное свидетельство И. Киреевского о том, что окончание этой статьи было им послано в Петербург Вяземскому в феврале 1832 года (см.: Вацуру В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972, с. 124.).

тий международных, узаконившихся у нас вследствие преобразования древней России в новую».²¹

Это свидетельство подтверждается следующим рассказом Вяземского, занесенным им в «Записные книжки»: «Однажды Пушкин между приятелями сильно русофильствовал и громил Запад. Это смущало Александра Тургенева, космополита по обстоятельствам, а частью и по склонности. Он горячо оспаривал мнения Пушкина; наконец не выдержал и сказал ему: „А знаешь ли что, голубчик, съезди ты хоть в Любек.“ Пушкин расхохотался, и хохот обезоружил его.

Нужно при этом напомнить, что Пушкин не бывал никогда за границую, что в то время русские путешественники отправлялись обыкновенно с Любскими пароходами и что Любек был первый иностранный город, ими посещаемый».²²

Словам Вяземского можно верить. Пушкин «русофильствовал», а сам он и Александр Тургенев защищали Запад.

И все-таки Вяземский несколько преувеличил свои расхождения с Пушкиным. Поэт был достаточно зорким, чтобы видеть в истинном свете значение петровских реформ для развития России; недаром незадолго до гибели Пушкин в письме к Чаадаеву утверждал, что Петр Великий «один есть целая всемирная история!» Столь смелая гипербола могла прийти на ум лишь такому мыслителю и историку, который понимал, как мощно и искусно подвигнул вперед страну государственный гений Петра I.

Неоспоримо, однако, то, что проблема национальной самобытности волновала Пушкина в большей степени, нежели Вяземского. Разный подход к этой кардинальной проблеме рождал между ними горячие споры. «Между прочим, находил он, что я слишком живо нападаю на Фонвизина за мнения его о французах, и слишком отстаиваю французских писателей. При всей просвещенной независимости ума Пушкина, в нем иногда пробивалась патриотическая щекотливость и ревность в отношении суда его над чужестранными писателями».²³

²¹ Новонайденный автограф Пушкина, с. 79, где текст исправлен по рукописи Вяземского.

²² Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. VIII. СПб., 1883, с. 168.

²³ Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. I. СПб., 1878, с. LI.

Смысл этих строк «Автобиографического введения» Вяземского стал в полной мере понятен лишь в последнее время, после обнаружения помет Пушкина на рукописи монографии Вяземского о русском сатирике. Письма Фонвизина из Франции и Италии, с которыми полемизировал Вяземский, оказались крайне злободневными в начале 1830-х годов. Эти послания, написанные полвека назад, точно «накладывались» на споры о России и Западе. Критицизм Фонвизина, обнаруженный им во время путешествия по Западной Европе, вызывал одобрение Пушкина и порицание Вяземского.

Западничество католического толка Чаадаева, цивилизованное западничество Вяземского и Александра Тургенева, тенденция к национальной самобытности во взглядах Пушкина и русофильство Ивана Киреевского, имевшее в себе зачатки религиозных веяний зарождавшегося славянофильства, — таковы основные умственные течения, которые характеризуют споры передовых дворянских писателей в 1830-е годы.

Но как бы далеко ни расходились Пушкин, Вяземский, А. Тургенев, Чаадаев и И. Киреевский в оценке исторических судеб России и Западной Европы, в порицании, одобрении или беспристрастной оценке православия и католичества, имеется один первостепенный пункт, в котором все они сходятся, — отвержение общественного бытия современной им России, неприятие духовной атмосферы николаевского царствования.

«Поспорив с вами, я должен вам сказать, — признавался Пушкин Чаадаеву, — что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко».²⁴

В спорах по поводу польско-русских событий Пушкин, Жуковский и Денис Давыдов единодушно выступали против взглядов Вяземского и А. И. Тургенева. Однако их общая позиция в данном конкретном вопросе объяс-

²⁴ Пушкин П. Письма последних лет, с. 156 (подлинник по-французски).

нялась не идентичностью историко-философских построений, а отражала в первую очередь совпадение их взглядов на политические события тех лет. Этот тезис может быть доказан, если сопоставить философии истории Жуковского и Дениса Давыдова, во многом противоположные друг другу и в равной мере не согласные с историко-философской концепцией Чаадаева.

Известно остроумное суждение Жуковского о «Философическом. письме» Чаадаева: «Порицать Россию за то, что она с христианством не приняла католичества, предвидеть, что католическою была бы она лучше — все равно, что жалеть о черноволосом красавце, зачем он не белокурый. Красавец за изменением цвета волос был бы и наружностью и характером совсем не тот, каков он есть. Россия, изначала католическая, была бы совсем не та, какова теперь; допустим, пожалуй, что католическая была бы она и лучше, но она не была бы Россиею».²⁵

Жуковский метко обнаружил ахиллесову пята рассуждений Чаадаева — антиисторизм его взгляда на прошлое России.

Сам Жуковский придерживался иной точки зрения; в письмах к Николаю I о запрещении «Европейца» он признавал исторически оправданным отличие судеб России и Запада, считал правомерным конституционный строй Англии и Франции и столь же правомерной русскую монархию.²⁶

Жуковский испытал воздействие идей французской романтической историографии. Осенью 1826 года он вместе с братьями Тургеневыми — Александром и Сергеем — жил в Дрездене и совместно с ними изучал труды новейших французских историков. 26 декабря 1826 года Жуковский писал П. А. Вяземскому: «Посылаю Миньстону „Историю французской революции“; об ней можешь написать замечательную статью в „Телеграф“».²⁷

Общие же взгляды Жуковского на государственное устройство европейских стран восходит к концепциям

²⁵ Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина, кн. IV, СПб., 1891, с. 388—389 (запись со слов Д. Н. Свербеева).

²⁶ Подробнее об этом см.: Гиллельсон М. Письма Жуковского о запрещении «Европейца». — РЛ, 1965, № 4, с. 114—124.

²⁷ Жуковский В. А. Собр. соч. в четырех томах, т. 4. М. Л. 1960, с. 590.

XVIII века, и прежде всего к трудам Монтескье и Гее-рена. Последний считал, что расцвет европейской культуры во многом обусловлен различием политических систем в странах Западной Европы.²⁸

Итак, для Жуковского нет дилеммы: Россия или Запад. По его мнению, каждая страна развивается своим путем, и нет необходимости ставить вопрос о преимуществах того или иного пути. Наконец, следует отметить общую оптимистическую тональность историко-философской позиции Жуковского; он твердо верит в постепенный исторический прогресс.

Диаметрально противоположное мнение высказывал Денис Давыдов; метко, здраво и дальновидно судил он о современной цивилизации:

«Но некогда Наполеон сказал: „Европа занималась чтением истории французской революции. — Я положил заметку и закрыл книгу. Заметка — моя шпага. Придет время, заметка выпадет, и Европа обратится к чтению книги, мною закрытой“.

Пророчество его сбылось, заметка выпала, — и все ринулись на поприще воскресших вымыслов, прений и переворотов. <...>

Возобновилась борьба годов 1789 и 1790. Гром оружия заменился напряжением гортаней и скрипом перьев. Поля Маренго, Аустерлица, Лейпцига, Бородина, Ватерлоо, Иены перенеслись в палаты перов и депутатов, в журналы, в гостиные. И как тогда, так и ныне, те только покоряли и покоряют большую часть внимания, которые далее выдвигали и выдвигают вещественные и словесные батареи свои, оглашали и оглашают большее пространство звуками своими.

И после сего есть еще люди, которые думают, что все это усилие ратоборцев минувшей и настоящей эпох побуждаемо единым рвением к пользе общей, к доставлению человечеству большего благосостояния, большей свободы и просвещения.

Нет, нет! И тогда, и ныне человечество было и есть собрание цифр, которыми решались и решаются задачи личных честолюбий или корыстолюбий; и тогда, и ныне чувство побуждавшее и побуждающее к усилиям было и

²⁸ Heeren A.-H.-L. Handbuch des Geschichte des europäischen Staatensystems und seiner Colonien. 5. Ausg. Göttingen, 1830, I Th., S. 10—11.

есть неусутомимая жажда к приобретению личной известности или личного достоинства! Всепоглощавшее я было тогда, всепоглощающее я ныне — вот причина! Война тогда, война и ныне, — вот следствие!

Разница только в образе битв, в оружии и в полях сражений. Разница в том только, что вместо Массен, Давустов, эрцгерцогов Карлов, Веллингтонов, Багратионов, Блюхеров, Кутузовых, мы видим Пепе, Квиригов, Одиллонов, Гунтов, Окконелей, Могенов, Лелевелей, и что Наполеон, этот умственный феномен веков и мира, этот ослепительный метеор, облеченный в очарование высочайшей поэзии, заменен Лафайетом, девяностолетним дитятей в маскарадном платье польского гренадера!

Гомерического, баснословного, грандиозного размера битвы, с отпечатком гениальных соображений, — площадною свалкою черни в лохмотьях, и фразы Жюмини — фразами аббата Ламене, рассыпанными по глупцам мелкою монетою, но польза, благосостояние и свобода народов все остаются и определены вечно остаться на кресте между двух разбойников: *честолюбия военного и честолюбия гражданского*, разбойников не распятых и без раскаяния.

Будем откровенны: не нашего века желудкам варить такую пищу, какова свобода; на это надобны желудки древних римлян или спартанцев; они только безвредно для себя могли насыщаться и пресыщаться свободою. Их дюжая нравственность соответствовала благодати, которою провидение наделяет одни народы благочестивые и исполненные самоотвержения для блага отечества, страстно ими любимого, твердые в религии и добродетели, нужде, неге и роскоши.

И мы, мы, дышащие космополитизмом под именем *любви к человечеству*, как будто *люблю всех* не одно и то же, что *никого не люблю кроме одного себя*; мы, сухие скептики и аналитики всего святого в мире; мы, народы чахлые, гнилые, вялые и прозаические, мы смеем еще помышлять о святой свободе! О, это забавно! В одно время пользоваться и наслаждением разврата и стяжать награду за добродетель — да где это видано? Нет, будем достойны этой небесной манны, и она сама собою сойдет к нам с неба; но пока всепоглощающее я будет нашим единственным рычагом, единым нашим идолом, единым нашим богом, до тех пор напрасны будут все наши усилия; и до тех пор наш удел один из двух: *рабство* или

анархия, удел тех же римлян и спартанцев, при падении их с высоты добродетели, набожности и любви к отечеству в то роскошное беззаконие, в то утонченное *себелюбие*, в коем мы ныне утопаем.

В нашей памяти и французская революция, и переворот июльский, и мятеж царства польского; все это, как говорили тогда, произведено было для блага общего; но назовите мне хоть одного из лиц, оказавшихся на поверхности сих кровавых событий, которому бы благо общее было выше собственного? Вы ни одного не назовете! У каждого, как у лисицы Крылова: *рыльце в пуху*».²⁹

Эти строки написаны Денисом Давыдовым чуть позже знаменитого «Философического письма» Чаадаева. По возрасту их исторические концепции почти близнецы. Но как они непохожи друг на друга!

Чаадаев мрачно оценивал русскую историю. Но стоило ему обратить взор на Запад, как скепсис сменялся надеждой; он полагал, что католицизм, противостоя светской власти, спасает европейские народы от засилия государства.

Денис Давыдов пессимистичнее Чаадаева; поэт-партизан нигде не видит земли обетованной. Лишь в прошлом, в золотом веке античности было светло и радостно. С закатом античной культуры кончились счастливые дни человечества. Современная цивилизация враждебна людям. Христианская легенда гласила, что спаситель мира был распят между двумя приговоренными к распятию разбойниками. С поразительной смелостью Давыдов переосмыслил этот художественный образ Нового завета: «...поль-

²⁹ Записки 1831 года Дениса Давыдова, знаменитого гусара, генерала, поэта и славного партизана (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, № 825). С незначительными разночтениями имеется другой экземпляр этих записок (ГПБ, F.IV, 478). Окончательный текст записок Д. В. Давыдова о польской войне 1831 года не установлен. Текст этих записок, напечатанный в «Русской старине» (1872, № 6), а также в сочинениях писателя (Д. В. Давыдов. Сочинения, т. II. СПб., 1893) имеет существенные отличия, видимому, позднейшего происхождения. В. Д. Давыдов, сын писателя, утверждал, что текст записок, предоставленный им редакции «Русской старины», снят с подлинной рукописи автора. Между тем сверка этого текста, хранящегося среди бумаг архива «Русской старины», с печатным текстом, опубликованным в журнале, показывает их неидентичность; поэтому приводим необходимую нам цитату по списку, соответствие которого авторской рукописи засвидетельствовано В. Д. Давыдовым.

за, благосостояние и свобода народов все остаются и определены вечно остаться на кресте между двух разбойников: честолюбия военного и честолюбия гражданского, разбойников не распятых и без покаяния».

Философия истории Давыдова беспощадна. Его аналитический ум бесстрашно разрушает все кумиры. Новый правопорядок, утвердившийся на развалинах феодальных монархий, не обольстил его. Проницательная мысль Дениса Давыдова распознала лицемерие буржуазного парламентаризма, заклеила презрением своекорыстие вождей польского национального движения.

Различная судьба была уготовлена историко-философским взглядам Чаадаева и Давыдова.

Первое «Философическое письмо» Чаадаева появилось в 1836 году в «Телескопе». Оно стало крупной вехой в истории русской общественной мысли.

Исторические прозрения Дениса Давыдова долгие годы оставались под спудом. Включенные в состав обширных записок о польской кампании 1831 года, эти поразительные страницы не обратили на себя внимания.

Настало время по достоинству оценить философию истории Давыдова — и не только историкам русской общественной мысли, но и пушкинистам. Ведь Пушкин, конечно, знал, как остро и верно судит современные порядки Денис Давыдов. Возможно, что он не читал рукопись давыдовских «Записок» о польской кампании. Однако несомненно, что во время споров о Польше в конце 1831 года Давыдов излагал Пушкину, Вяземскому, Жуковскому, Тургеневу и Чаадаеву свою философию истории, свое отношение к западноевропейской демократии. Две различные философии истории — Чаадаева и Дениса Давыдова — столкнулись в этих спорах. К сожалению, никому из участников не пришло в голову занести на бумагу доводы обеих сторон. В духовной жизни человечества некоторые потери невосполнимы. Мы никогда не узнаем подробности историко-философского диспута между Чаадаевым и Давыдовым. Но отголоски этого умственного ратоборства мы явственно различаем в «Современной песне» Дениса Давыдова, где Чаадаев назван «маленьким аббатиком», «что в гостиных бить привык в маленький набатик».

Католические симпатии «аббатика» Чаадаева были чужды Пушкину; ему более импонировала идейная по-

зияция Дениса Давыдова; во всяком случае несомненно, что Пушкин с сочувствием слушал остроумные, саркастические тирады Давыдова, которыми тот разил Лафайета и других западноевропейских парламентариев.

Философия истории Дениса Давыдова освещает новым светом стихотворение Пушкина «Клеветникам России». Мы можем различить в нем не только *национальное* ядро — ответ на антирусские выступления Лафайета и других французских депутатов, — но и *социальный* стержень: неприятие буржуазных форм политической жизни. Ведь Июльская революция во Франции, вызвавшая выпады Дениса Давыдова по адресу Лафита и других финансовых королей, была столь же неприязненно оценена и Пушкиным.

Рассмотренные нами материалы по истории общественной мысли писателей пушкинского круга в основном хронологически ограничены узким отрезком времени — 1830—1832 годами. Это дает нам право утверждать, что в начале 30-х годов прошлого столетия произошел идеологический «взрыв», проявившийся в интенсивной филиации русофильских и западных идей. Непосредственное отношение к этому умственному противостоянию имеет и Мицкевич, произведения которого по интересующему нас вопросу — семь стихотворений, посвященных России: «Дорога в Россию», «Предместья столицы», «Петербург», «Памятник Петру Великому», «Смотр войскам», «Олешкович», «Русским друзьям», — стали предметом пристального внимания Пушкина в середине 1833 года. Как известно, вернувшийся из-за границы С. А. Соболевский привез Пушкину сочинения Мицкевича, в которых были напечатаны эти произведения. Соболевский вернулся в Петербург 22 июля 1833 года. Лично встречавшийся с Мицкевичем, он несомненно мог детально рассказать Пушкину о позиции последнего.³⁰ Таким образом, Пушкин очутился в достаточно критическом положении. Близкие его друзья и люди, с мнением которых

³⁰ Об отношениях Пушкина и Мицкевича см.: Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 157—206; а также многочисленные работы В. Ледницкого (Lednicki W. 1) O Puszkynie i Mickiewiczzu słow kilka. Kraków, 1924; 2) Aleksander Puszkina. Studja, Kraków, 1926; 3) Pouchkine et la Pologne. Paris, 1928; 4) Russia, Poland and the West. London, 1954; 5) Pushkin's Bronze Horseman. Berkeley—Los Angeles, 1955).

он безусловно считался (Чаадаев, Мицкевич, Вяземский, А. И. Тургенев), не принимали, хотя и с разных позиций, его «русофильские» высказывания.

Между тем свой взгляд на самобытность русского исторического процесса Пушкин вынужден был защищать и вне круга передовых дворянских писателей. Полемицируя с Н. А. Полевым, поклонником французской романтической историографии, Пушкин писал: «Вы поняли великое достоинство французского историка. Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенных Гизотом из истории христианского Запада» (XI, 127). Как справедливо отмечено А. Н. Шебуниным в рецензии на статью П. Попова «Пушкин в работе над историей Петра I», представление о том, что отсутствие в русской истории эпохи феодализма обусловило коренное отличие исторических судеб России и Запада, было внушено Пушкину еще на лицейской скамье; именно так излагал историю И. К. Кайданов, опиравшийся на труды Геерена; подобный подход должен был укрепиться в сознании Пушкина и под влиянием бесед с Н. И. Тургеневым, «геттингенцем», учеником Геерена.³¹

Положение Пушкина осложнилось после того, как идеологи николаевского царствования подняли на щит идею русской народности. Назначенный в 1833 году на пост министра народного просвещения С. С. Уваров изобрел триединый идеологический девиз: «самодержавие, православие и народность». В литературе эта линия нашла свое отражение в первую очередь в творчестве Ф. В. Булгарина и Н. В. Кукольника, к произведениям которых Пушкин, как известно, относился отрицательно. Таким образом, оказалось необходимым отграничить свою позицию от официозных идеологов.

Усиленные занятия историей Петра I, размышления над причинами петровских реформ давали возможность глубже вникнуть в истоки новой истории России. Наконец, несколько улегшиеся политические страсти, вызванные Июльской революцией и польскими событиями, способствовали стремлению более спокойно рассматривать проблему «Россия и Запад».

³¹ Временник Пушкинской комиссии, 2. М.—Л., 1936, с. 438.

Осенью 1833 года в Болдино Пушкин пишет «Медного всадника». Замысел этой поэмы, по-видимому, имеет отношение к беседам Пушкина с Мицкевичем и Вяземским в 1828 году. На полях сочинений Пушкина против строки «Россию поднял на дыбы» Вяземский написал: «Мое выражение, сказанное Мицкевичу и Пушкину, когда мы проходили мимо памятника. Я сказал, что этот памятник символический. Петр скорее поднял Россию на дыбы, чем погнался вперед».³² Трудно с достоверностью откомментировать эту вырванную из контекста реплику. Зная, однако, многие положительные высказывания Вяземского о царствовании Петра I, можно предполагать, что он порицал не европеизацию России, а азиатские методы этой европеизации, примененные Петром I. По всей вероятности, Пушкин разделял подобную точку зрения. Но как бы там ни было, афористическое суждение Вяземского запомнилось Пушкину и было им использовано в «Медном всаднике». Таким образом, проблема «Россия и Запад», возникавшая во время дружеских споров конца 1820-х годов, присутствовала в сознании Пушкина во время написания «Медного всадника». И хотя эта тема не звучит открыто в поэме, тем не менее она в ней присутствует, составляя скрытую историко-философскую подоснову поэмы.

Споры конца 1820-х годов, дальнейшая полемика об отношениях России, Польши и Западной Европы, связанная с политическими событиями начала 1830-х годов, обсуждение монографии Вяземского о Фонвизине, наконец, стихотворения Мицкевича, посвященные России, — весь этот комплекс общественных, политических, исторических и литературных ассоциаций стимулировал творческую мысль Пушкина во время написания «Медного всадника». По воспоминаниям П. П. Вяземского, в чтении поэмы самим Пушкиным Евгений произносил перед памятником Петру I монолог, в котором «слишком энергично звучала ненависть к европейской цивилизации». Д. Д. Благой, обративший внимание на мемуары П. П. Вяземского, писал: «... в своем монологе Евгений был бы на прямом пути от знаменитого дворянского идеолога Екатерининских времен, кн. Щербатова («О повреждении нравов в России») и Карамзина периода «Истории Государства

³² Пушкин в воспоминаниях современников. Л., 1936, с. 387.

Российского» (см. в «Записке о древней и новой России» место о Петре) к славянофилам, но отсутствие каких бы то ни было следов его во всех имеющихся рукописях делает утверждение П. П. Вяземского достаточно шатким».³³

Вероятно, П. П. Вяземский что-то спутал. Но как бы там ни было, его свидетельство позволяет утверждать, что в сознании близкого к Пушкину современника содержание «Медного всадника» ассоциировалось со спорами о России и Западе. Подспудно те же споры отразились в знаменитом пушкинском сравнении Петербурга и Москвы во вступлении к «Медному всаднику». Спор был давний. Ведь еще И. Н. Болтин и М. М. Щербатов высказывали сожаление, что Москва перестала быть столицей. В последнее время собран обширный материал, доказывающий, что тема соперничества Москвы и Петербурга занимала умы современников и в 1830-е годы.³⁴

В «Медном всаднике» Евгений — деклассированный дворянин, мелкий чиновник, безвестный петербургский житель. Зачеркнувший свое прошлое, потерявший связь с «почиющей родней», Евгений отрекся, по сути дела, от своего класса, перешел в третье сословие (ср. с черновиком «Езерского»: «Из бар мы лезем в tiers-état»). Для Евгения «всепоглощающее я» (если пользоваться терминологией Дениса Давыдова) единственное чувство, побуждающее к действию.

Уж кое-как себе устрою
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокою.
Пройдет, быть может, год, другой —
Местечко получу, Параше
Препоручу хозяйство наше
И воспитание ребят...
И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба,
И внуки нас похоронят...

В этом апофеозе скромного достатка, где вся вселенная ограничена семейным кругом, чувствуется бездуховность героя.

³³ Благой Д. Социология творчества Пушкина. М., 1934, 276.

³⁴ Вацуро В. Э. Пушкин и проблемы бытописания в начале 1830-х годов. — В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. VI. М., 1969, с. 150—170.

Мизерность современного человека показана Пушкиным на широком фоне — от жалкой «конуры» Евгения до Зимнего дворца.

В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон
Печален, смутен, вышел он
И молвил: «С божией стихией
Царям не совладеть». Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел.

Сверхчеловеческой энергии Петра I противопоставлено безволие Александра I, героическим делам царствования Петра I — повседневная ограниченность, историческая близорукость петербургского обывателя пушкинского времени. Пушкин не видит ни одного Героя среди своих современников. И снова возникает сопоставление с мыслями Дениса Давыдова, который по контрасту с Наполеоном показывал ничтожность современных политических деятелей.

Сложная историческая и политическая обстановка 1830-х годов вызывала противоречивые тенденции в историко-философских взглядах Пушкина; его высказывания в защиту русской государственности отражали прочную веру поэта в историческое предназначение России, веру, столь энергично выраженную в одическом вступлении к «Медному всаднику»; его скептическое отношение к современной цивилизации, отношение, которое в своих основных чертах совпадало с позицией Дениса Давыдова, происходило от отрицания николаевского самовластия, от неприятия буржуазных порядков Западной Европы и социальных перемен, вестников проникновения в Россию духа буржуазного предпринимательства.

Различные точки зрения по философии истории, высказывавшиеся писателями пушкинского круга в 1830-е годы, убеждают нас в том, что в этой среде шли напряженные споры по кардинальным проблемам исторического развития. Таким образом, идейная жизнь Пушкина этих лет неотделима от того умственного брожения, которое даст себя знать в ближайшее десятилетие; споры Пушкина и его литературных соратников являются *прологом* тех отчаянных прений в московских гостиных, которые так ярко воссозданы Герценом в «Былом и думах».

1832 год — черный год в летописях русской культуры. Открытием «Европейца» правительство начало многолетний крестовый поход против сил прогресса и истинного просвещения, во славу «самодержавия, православия и народности».

Писатели пушкинского круга (да и другие литераторы) вскоре поняли, что стремительное возвышение экспримадасца Уварова не сулит им ничего хорошего. И они не ошиблись! Их бывший сотрапезник, не раз разделявший с ними когда-то арзамасского гуся, стал воздвигать, по его собственному образному выражению, «умственные плотины». Все враждебнее косились в гостиных на тех, кто осмеливался иметь свое мнение. Его не должно было иметь! Думать полагалось по казенному ранжиру.

Оставаться на родине становилось невмоготу, и летом 1832 года Александр Тургенев вновь отправляется за границу.

«18 июня. <...> В час сели на первый пароход. Велгурский, Мюральт, Федоров с сыном провожали нас...¹ В час — тронулся пароход. Я сидел на палубе — смотря на удаляющуюся набережную, и никого, кроме могил, оставляя в Пкетер>бурге, ибо Жук<овский> был

¹ Велгурский — Михаил Юрьевич Виельгорский (1788—1856), основатель музыкального салона. Мюральт Иоганн (1780—1850) — пастор реформатской церкви в Петербурге. Федоров Борис Михайлович (1794—1875) — литератор, помогавший Тургеневу в поисках исторических документов из иностранных архивов.

со мною. Он оперся на минуту на меня и вздохнул за меня по отечеству: он один чувствовал, что мне нельзя возвратиться... Петербург, окрестности были далеко; я позвал Пушкина, Энгельгарда,² Вяземского, Жуковского, Викулина³ на завтрак и на шампанское в каюту — и там оживился грустию и самым моим одиночеством в мире... Брат был далеко... Пушкин напомнил мне, что я еще не за Кронштадтом, куда в 4 часа мы приехали. Пересели на другой пароход: *Николай I*, на коем за год прибыл я в Россию; дурно обедали, но хорошо пили, в 7 часов расстался с Энгельгардом и Пушкиным; они возвратились в Петербург; Вяземский остался с нами, завидовал нашей участи» (129).

Читая эту выцветшую запись, наспех набросанную Тургеневым, мы невольно переносимся в прошлое, видим небольшой пароход, медленно идущий к Кронштадту, ощущаем непринужденную атмосферу дружеских проводов.

Пробка шумно ударилась в потолок каюты. Пушкин и его друзья провозгласили тост за счастливое путешествие. Шампанское разгорячило умы, и Тургенев сказал что-то резкое, о чем не положено было говорить. Пушкин напомнил Александру Ивановичу: в России и стены имеют уши!

Непривычно, странно было слышать такие слова из уст Пушкина; когда-то, в конце 1810-х годов, роли были иными — в те времена он, Александр Иванович, постоянно предостерегал не знавшего удержу поэта от опасных выходов против властей. Как все изменилось! Обстоятельства стали таковы, что остерегающие слова Пушкина должны были быть сказаны: они все — Пушкин, Вяземский, Тургенев и даже Жуковский — были на подозрении; кто мог поручиться, что их не сопровождает тайный соглядатай?

Непрочно, очень непрочно чувствовал себя Александр Иванович; за отказ отступить от брата-декабриста он заслужил открытую неприязнь двора. Заграничный паспорт был ему выдан не сразу и лишь по личному раз-

² По-видимому, Энгельгардт Василий Васильевич (1785—1837) — полковник в отставке, член литературного кружка «Зеленая лампа».

³ Викулин Сергей Алексеевич (1800—1848) — попутчик Тургенева и Жуковского в поездке за границу.

решению Николая I. Как видно из дневника его, Тургенев предлагал Жуковскому ехать порознь; Александр Иванович опасался, что его крамольное общество повредит Василию Андреевичу в глазах властей предрержащих. Но его доводы не убедили Жуковского, который настоял на совместном путешествии. Какая цена была бы его дружбе, если бы он, Жуковский, малодушно отсекся от основного друга? И вот они едут на одном пароходе, и, конечно, Пушкин и Вяземский провожают их до Кронштадта. Союз, связующий истинных арзамасцев, не расторгим!

На брюлловском портрете Александра Ивановича внизу написан девиз рода Тургеневых: «Без боязни обличаху». Самодержавная власть не терпит обличений, и понятно, что тот, кто руководствовался столь смелым девизом, был не ко двору в николаевской России. Не ко двору были и его друзья — Пушкин, Вяземский, Жуковский. Все они принадлежали к поколению отцов, которое 14 декабря 1825 года вышло на Сенатскую площадь. Это поколение Николай I ненавидел и смертельно боялся его. И горе тем, кто дерзнет вызвать испуг в душе самодержца; этого унижения Николай I никогда не простит их поколению.

В Ганновере Александр Иванович расстался с Жуковским, ехавшим на лечение в Швейцарию. Они условились встретиться в следующем году в Италии, куда — после Геттингена и Мюнхена — держал свой путь Тургенев.

Три месяца спустя дорожная карета доставила Александра Ивановича в Венецию. Впервые он посетил этот город в 1804 году и оставил нам восторженное описание морской красавицы: «Когда подъезжаешь к Венеции, особливо со стороны Триеста, то кажется, что сия масса великолепных зданий — как бы подобие Венеры — рождается из морской пены...»

Теперь же, почти три десятилетия спустя, его душу поражают венецианские каторжники: «Смотря на этих колодников, гремевших цепями вокруг своего страждущего товарища, — я вспомнил, что наши сестры и дочери плясали в коронацию, под звук цепей, в коих шли их друзья и братья в Сибирь! Но другое воспоминание усладило сердце: молодые супруги летели туда же к су-

пругам своим, зарыться с ними в вечных снегах!! до радостного утра».⁴

Человек высокого нравственного долга, Тургенев болезненно воспринимал малодушное отступничество родных и друзей от сосланных на каторгу декабристов. Тем большее преклонение вызывал у него самоотверженный подвиг жен декабристов, добровольно последовавших в Сибирь за своими мужьями.

На страницах дневников и писем Тургенева мелькают названия итальянских городов и селений; и вот то тут, то там снова появляется имя Пушкина.

«Уверяют, что один из остроумнейших авторов и по жизни своей *старого* Александра Пушкина и неизменного Вяземского напоминающий, есть поэт Giraud, коего эпиграммы на все и на всех здесь известны»,⁵ — писал он 2 января 1833 года из Рима Вяземскому. Как точно подмечено душевное состояние Пушкина! Не стало веселого, жизнерадостного Сверчка; не по летам повзрослевший поэт запечатлелся в памяти Александра Ивановича.

Три месяца спустя Тургенев порадовал его подарком. «Маленькая ваза из белого мрамора, найденная в Тускулуме, поэту-Пушкину»,⁶ — сообщал он 18 апреля 1833 года Вяземскому. В трудные тридцатые годы Пушкин особенно дорожил дружеским бескорыстным вниманием.

В странствиях по Германии, Италии и Швейцарии прошло два года. Александр Иванович возвратился в Москву в конце мая 1834 года. Там его ожидали встречи со старыми друзьями и знакомыми: Вяземским, стареющим Дмитриевым, Михаилом Орловым, Баратынским, Киреевскими, Елагиной, Полторацким.

«Полторацкий привез ко мне Полевого: он рассказал мне историю запрещения «Телеграфа», — записал Тургенев 5 июня. — Увар<ов> является во всем блеске. Я только слушал и сказал свое мнение об одном Ув<арове>».

Запрещение «Московского телеграфа» явилось одной из первых «блистательных» акций Уварова-министра. Его чиновники изготовили увесистое обвинительное досье, составленное из крамольных журнальных фраз. Даже за-

⁴ ИРЛИ, ф. 309, № 12, л. 86. Запись от 20 сентября 1832 г.

⁵ Архив братьев Тургеневых, вып. 6. Пг., 1921, с. 134. — Жиро Джованни (1776—1834) — итальянский драматург.

⁶ Там же, с. 199.

ступничество шефа жандармов Бенкендорфа, пытавшегося в пику Уварову помочь Полевому, не принесло желанного результата. Уваров и в самом деле явился «во всем блеске».

Вскоре Александр Иванович уехал из Москвы в Симбирск, в свое родовое имение Тургеневы.

«1 июля <1834>... О брат! отсутствие твое не мешает мне действовать здесь по сердцу твоему».

Это строки о брате Николае, который летом 1818 года, несмотря на протесты их матери, яркой крепостницы, перевел крестьян с барщины на оброк. Пушкин, безусловно, знал о человеколюбивом поступке Николая Тургенева, — не единичном в те годы, — и он был одним из тех, кого вспоминал поэт, когда писал в «Евгении Онегине»:

Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил.

В сентябре 1834 года Тургенев вернулся в Москву; туда же приехал Пушкин с женой и свояченицами. 8 сентября Александр Иванович был в театре и сидел в ложе с Пушкиным и его тремя красавицами. На следующий день Тургенев навестил Пушкина и слушал в его чтении отрывки из «Истории Пугачева». Вечером, вернувшись домой, Тургенев получил записку от Пушкина.

«Само по себе разумеется, что Пугачев явится к вам первому, как скоро выдет из печати. Симбирск осажден был не им, а одним из его сообщников, по прозвищу Фирска. Книгу оставляю у жены, которая вам ее и возвратит. Весь Ваш — до свидания.

А. П.

Симбирск в 1671 году устоял противу Стеньки Разина, Пугачева того времени» (XV, 189).

В тот же день Тургенев занес в дневник свои впечатления о встрече с Пушкиным. Нижняя часть листа истлела, и некоторые слова прочесть невозможно. Записка Пушкина позволяет почти полностью восстановить текст дневника:

«9 сентября... <...> к Пушкину. <Слушал не>сколько страниц Пугачева. Много любопытного и оригинального. <Текст поврежден> сказав, что П<ушкин> расшевелил душу мою, заснувшую в степях Башкирии. <Симбирск> всегда имел для меня историческую прелесть. <Он устоял> против Пугачева» и Разина» (129).

Тургенев припомнил, что у него имеются материалы по истории Пугачева и немедленно известил об этом Пушкина; поэт-историк ответил ему: «Это все у меня уже есть — и будет напечатано в приложении. <...> Сейчас еду, лошади уже заложены» (XV, 190).

Во времена Пушкина, к счастью, еще не был изобретен телефон. Тогда не набирали наспех номер знакомых, а посылали друг другу записочки; многое сохранили для нас маленькие клочки бумаги, на которых Пушкин и его друзья царапали впопыхах последние новости, спрашивали о чем-то неотложном, отвечали на только что полученные строки.

В начале октября 1834 года Тургенев приехал в столицу.

«15 октября. <...> Вечер у Пушкина: читал мне свою поэму о П<етер>бургском потопе. Превосходно. Другие отрывки...» (130). Несколько дней спустя Александр Иванович извещал Вяземского: «Пушкин вчера навестил меня. Поэма его о наводнении превосходна, но исчерчена и потому не печатается. Пугачевщина уже напечатана и выходит».⁷

Поэму о Петербургском потопе — «Медный всадник» — Пушкин закончил еще в октябре 1833 года. Она была представлена на высочайшую цензуру. Николай I зачеркнул четыре строки и отметил ряд мест, которые, по его монаршему разумению, следовало переменить. Пушкин положил поэму в стол. Год спустя он прочел ее Александру Ивановичу; вскоре в дневнике Тургенева появились «крамольные» четыре строки:

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиросная вдова.

«Порфиросная вдова» — императрица Мария Федоровна, жена Павла I, мать Александра I и Николая I — умерла в 1829 году. Но история ее отношений с новой царицей Елизаветой Алексеевной, супругой Александра I, еще была жива в памяти царя.

Мария Федоровна так и не простила своему первенцу участие в событиях 11 марта 1801 года; каждый год

⁷ ОА, т. 3, с. 262.

в день убийства Павла I «порфиросная вдова» устраивала торжественную панихиду. Александр I знал, что не из любви к удавленнику Михайловского замка, а из желания досадить ему поддерживала мать эту церемонию; ведь было хорошо известно, что Мария Федоровна не хранила верность Павлу I.

Неприятно относилась Мария Федоровна к жене Александра I, умной и по тем временам образованной женщине. Николай I, конечно, помнил, как быстро «померкла» порфиросная вдова перед новой царицей. Вызывать подобные ассоциации ему представлялось неуместным; не к чему было вспоминать в поэме и о распре двух столиц; сие отнюдь не способствовало поддержанию престижа власти. Николай I перечеркнул неудобные ему строки.

Полтора месяца спустя Александр Иванович записал: «2 декабря. <...> У Хитрово с час проболтал с Толстой»,⁸ мило уговаривала меня не давать воли языку. <...> Маркиз Дуро допрашивал, почему государь не пропустил стихов Пушкина... „tes pourquoі, marquis, ne finiraient jamais“...»⁹

Александр Иванович слегка перефразировал слова Вольтера «Из рассуждения в стихах о человеке»; там это крылатое выражение звучит так: «Твоим „почему“, сказал бог, никогда не будет конца». Парируя вопросы недоброжелательных критиков, Пушкин в предисловии ко второму изданию «Руслана и Людмилы» вспомнил это изречение Вольтера. Теперь оно снова «столкнулось» с Пушкиным; острота Вольтера пришла на память Тургеневу во время разговора о цензуровании царем «Медного всадника».

Пушкин не скрывал от своих друзей, как придирчиво отнесся Николай I к поэме о Петербургском потопе; через салон австрийского посла графа Фикельмона, где поэт часто бывал, его неудовольствие стало известно в дипломатическом мире столицы. Узнал о нем и посетивший Россию маркиз Дуро, сын английского политического деятеля герцога Веллингтона, узнал и пришел в не-

⁸ Толстая Анна Матвеевна (1809—1897) — племянница В. М. Хитрово.

⁹ Твоим почему, маркиз, никогда не будет конца (франц.). — *Ред.*

доумение. Где было ему, неискушенному в чужих порядках, понять, в каких трудных условиях находятся русские писатели? Как бы он удивился, если б узнал, что министр народного просвещения Уваров предлагал воздвигать «умственные плотины» против просвещения? При всей любви англичан к парадоксам такие парадоксы были ему недоступны.

«1 ноября <1834>... У меня сидели Пушкин и Соболевский.¹⁰ Первый о Вольтере, о Ермолове: одного со мною о нем мнения. — О Ериванском Ермолове: все перед ним ниц падает; лучше назвать *Ерихонским*» (131).

Творчество Вольтера привлекало внимание Пушкина еще в Лицее. В 1832 году Пушкин просил и получил высочайшее разрешение ознакомиться с богатой библиотекой Вольтера, хранившейся в Эрмитаже.¹¹ В 1834 году в незаконченной статье «О ничтожестве литературы русской» Пушкин, критикуя художественный метод Вольтера, тем не менее называет его великаном XVIII века. В 1836 году Пушкин анонимно опубликовал в «Современнике» статью «Вольтер»; она была написана Пушкиным по поводу только что опубликованной в Париже переписки Вольтера с историком, президентом бургундского парламента де Броссом и прусским королем Фридрихом II. Книжная новинка попала к Пушкину благодаря пожеланиям Тургенева. Во время своего пребывания в Париже Александр Иванович приобрел этот том, подписал на нем: «к<нязю> Вяземскому» и отослал в Россию. Вяземский передал его Пушкину — и до сего времени он хранится среди книг поэта.

С прославленным генералом Алексеем Петровичем Ермоловым Пушкин познакомился в 1829 году. Во время своего путешествия на Кавказ он сделал лишних двести верст, чтобы заехать в Орел, где жил находившийся в опале Ермолов. Генерал принял поэта. Два часа длилась оживленная беседа. В «Путешествии в Арзрум» Пушкин писал:

¹⁰ Соболевский Сергей Александрович (1803—1870) — эпиграмматист, друг Пушкина.

¹¹ Об этом см.: Алексеев М. П. Библиотека Вольтера в России. — В кн.: Библиотека Вольтера. Каталог книг. М.—Л., 1961, с. 41—52.

«Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что неестественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Дювом.

Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели пашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче и всегда язвительно, говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского графом Ерихонским» (VIII, 445).

Итак, Ериванский Ермолов — это Иван Федорович Паскевич, сменивший в 1827 году Ермолова на посту управляющего Кавказским краем; он имел титул графа Ериванского.

Эту часть «Путешествия в Арзрум» Пушкин напечатал еще в «Литературной газете» в 1830 году; страницы о Ермолове там отсутствовали; ни похвала фрондирующему генералу, ни тем более порицания всесильному Паскевичу к печати не допускались.

«16 ноября <...> Обедал у новорожденной Карамзиной¹² с Жук<овским>, Пушк<иным>, Кушников<ым>. Последний о Суворове говорил интересно. Проврался о графе Аракч<ее> по суду Жеребцова, «лежащего не бьют» и казнивший беременных женщин спасен от казни, а сидевшие в крепости — казнены» (132).

Сергей Сергеевич Кушников (1765—1839), племянник Карамзина, адъютант Суворова во время итальянского похода 1799 года, «проврался», т. е. проговорился о заступничестве Аракчеева за новгородского губернатора Д. С. Жеребцова, который вел следствие над лицами, заподозренными в убийстве Минкиной, любовницы времен-

¹² Новорожденная Карамзина — Екатерина Андреевна, родившаяся 16 ноября 1780 г., вдова историографа.

щика. Герцен, отбывавший ссылку в Новгороде и знавший подробности этого дела от очевидцев, писал:

«Губернатор превратил свой дом в застенок, с утра до ночи возле его кабинета пытали людей. Старорусский исправник, человек, привычный к ужасам, наконец изнемог, и, когда ему велели донрашивать под розгами молодую женщину, беременную во второй половине, у него не достало сил. Он взмолился к губернатору — это было при старике Попове, который мне рассказывал, — и сказал ему, что эту женщину невозможно сечь, что это прямо противно закону; губернатор вскочил с своего места и, бешеный от злобы, бросился на исправника с *поднятым кулаком*: „Я вас сейчас велю арестовать, я вас отдам под суд, вы — *изменник!*“ Исправник был арестован и подал в отставку. <...> Женщину пытали, она ничего не знала о деле <...>; однако ж умерла. <...> Губернатора велено судить сенату, оправдать его даже там нельзя было. Но Николай издал милостивый манифест после коронации; под него не подошли друзья Пестеля и Муравьева — под него подошел этот мерзавец».¹³

Передовые люди разных поколений, Тургенев и Герцен в равной мере были возмущены «правосудием» Николая I — изверг, который должен был с «бубновым тузом» на спине шагать в кандалах на каторгу, остался безнаказанным; зато друзья Пестеля и Муравьева дрогли в тюремных казематах и изнемогали в сибирских рудниках.

Прошла лишь неделя после разговора о преступлениях новгородского губернатора, как в дневнике Александра Ивановича всплывают новые факты из скандальной хроники николаевского царствования.

«24 ноября. <...> Вечер с Жук<овским>, Пупк<иным> и Смирнов<ой>, угощал Кар<амзин>у у ней самой концертом Эйхгорнов,¹⁴ любезничал с Пупк<иной>, и Смирн<овой>, и Гончар<овой>. Но под конец ужасы Сухозанетские, рассказанные Шевичевой,¹⁵ возмутили всю мою душу» (132).

¹³ Герцен А. И. Собр. соч. в тридцати томах, т. IX. М., 1956, с. 88—89.

¹⁴ Эйхгорны — Эрнест (11 лет) и Эдуард (9 лет), братья-скрипачи, выступавшие с концертами в Петербурге.

¹⁵ Шевичева — Мария Христофоровна Шевич (1784—1841), сестра А. Х. Бенкендорфа, приятельница семейства Карамзиных.

«Ужасы Сухозанетские» — рассказ о противоестественных наклонностях генерал-адъютанта Ивана Онуфриевича Сухозанета, назначенного осенью 1833 года главным директором Пажеского и всех сухопутных корпусов. 29 ноября 1833 года Пушкин записал в дневнике: «Три вещи осуждаются вообще — и по справедливости: 1) выбор Сухозанета, человека запятнанного, вышедшего в люди через Яшвиля — педераста и отъявленного игрока, товарища Мартынова и Никитина. Государь видел в нем только изувеченного воина и назначил ему важнейший пост в государстве, как спокойное местечко в доме Инвалидов» (XII, 315).

Сухозанет не был исключением. Уваров, министр народного просвещения, славился такой же репутацией. Когда Пушкин в стихотворном памфлете «На выздоровление Лукулла», адресатом которого являлся Уваров, для отвода глаз цензуры выставил подзаголовок «подражание латинскому», то Тургенев остроумно заметил в письме к Вяземскому: «Спасибо переводчику с латинского. (Жаль, что не с *греческого!*). Биографическая строфа будет служить эпиграфом всей жизни арзамасца-отступника. Другого бы забыли, но Пушкин заклеил его бесмертным поношением».¹⁶

В Зимнем дворце находилась и находится по сие время портретная галерея героев Отечественной войны 1812 года.

В дневниках современников сохранилась словесная портретная галерея иных людей той эпохи — грязных честолюбцев, наглых казнокрадов, изощренных садистов.

Записи Тургенева кратки. Почти всегда они требуют комментариев. Лучше всех их мог бы написать сам Александр Иванович — ведь его заветной мечтой было оставить потомству свои мемуары. Вот там бы он развернул пунктирные пометы, порой зашифрованные строки в красочные описания. Но замысел автобиографической эпопеи остался неосуществленным. Не хватило времени, не хватило усидчивости.

А жаль! Ведь материалов, подготовительных пособий было заготовлено с лихвой. Собственные дневники и письма, неопубликованные рукописи разных лиц. Среди несметных богатств его личного архива сохранился даже конспект дневника Пушкина, сделанный весной 1837 го-

¹⁶ ЛН, т. 58, с. 120.

да.¹⁷ Иногда это прямая цитата, порой краткий пересказ, в двух случаях Тургенев сопровождает пушкинскую запись своей оценкой.

11 декабря 1833 года Пушкин занес в дневник последнюю новость о николаевских министрах: «Кочубей и Несельроде получили по 200 000 на прокормление своих голодных крестьян. — Эти четыреста тысяч останутся в их карманах» (XII, 317).

«Рассуждение Пушкина о сем здраво», — резюмирует Тургенев.

10 мая 1834 года Пушкин дал волю своему негодованию. Поэт писал о том, как подло распечатывать частную переписку. Тургенев переписал большой отрывок из дневника Пушкина и добавил от себя: «Это П<ушкин> написал после строк о прочтении его письма к жене государем, за которое гос<ударь> на него рассердился, но Жук<овский> объяснил ему истинный смысл письма, перехваченного моск<овским> почтамтом и полицией. — Ай-да Булгаков!»

Почтовый сыск осуществлен был по распоряжению Константина Яковлевича Булгакова, давнишнего приятеля Тургенева, московского почт-директора.

Сухозанеты, Паскевичи, Жеребцовы — как держать себя с подобными лицами, Александру Ивановичу было хорошо известно. А вот как относиться к человеку, не отличавшемуся выдающимися пороками, человеку неглупому, оказавшему Тургеневу множество мелких услуг, если вдруг выясняется, что он шпионил за их общим приятелем?

Тут было над чем задуматься!

Наконец, после пушкинской фразы: «Времена Красовского возвратились. Никитенко глупее Бирукова» Александр Иванович записал:

«(Сим кончается журнал П<ушкина>)».

Тургенев особенно подробно конспектировал те записи, в которых поэт говорил о своих отношениях с правительством и излагал свои беседы с великим князем Михаилом Павловичем.

Для нас выписки Тургенева из дневника Пушкина ценны тем, что дают возможность предположить знаком-

¹⁷ ИРЛИ, ф. 309, № 316, дл. 144—146.

ство с ними деятелей русской культуры, с которыми сталкивался вездесущий Александр Иванович.

«А. И. Тургенев — милый болтун; весело видеть, как он, несмотря на седую голову и лета, горячо интересуется всем человеческим, сколько жизни и деятельности! А потом приятно слушать его всесветные рассказы, знакомства со всеми знаменитостями Европы. Тургенев — европейская кумушка, человек au courant¹⁸ всех сплетней разных земель и стран, и все рассказывает, и все описывает, острит, хохочет, пишет письма, ездит спать на вечера и faire l'aimable¹⁹ везде».²⁰ Так аттестовал Герцен Александра Ивановича в дневниковой записи, сделанной 18 ноября 1842 года. Из нее следует, что Герцен часто встречал Тургенева в московских салонах, и, конечно, не только европейские новости бывали предметом их бесед. Вряд ли Герцен не воспользовался возможностью получить сведения о Пушкине «из первых рук», от одного из ближайших друзей поэта.

А теперь вернемся к тургеневскому конспекту дневника Пушкина. Александр Иванович выписал разговор Пушкина с великим князем Михаилом Павловичем в конце 1834 года, в котором поэт утверждал, что Романовы — революционеры. «Спасибо: так ты меня жалуешь в якобинцы», — отвечал ему великий князь.

«Революция, которая должна была спасти Россию, вышла из лона самого дома Романовых, дотоле равнодушного и бездеятельного. <...> Петр Великий был первой свободной личностью в России и, уже по одному этому, коронованным революционером», — писал Герцен в своем труде «О развитии революционных идей в России».²¹

Подобное суждение могло возникнуть у Герцена самостоятельно. Но теперь, когда стал известен тургеневский конспект дневника Пушкина, можно предположить, что Александр Иванович поведал Герцену о колоритном разговоре Пушкина с Михаилом Павловичем.

«6 ноября. День смерти Екатерины II... Обедал и кончил вечер у Смирновых, с Жуковским», Иксулем и Пуш-

¹⁸ В курсе (франц.). — *Ред.*

¹⁹ Любезничать (франц.). — *Ред.*

²⁰ Герцен А. И. Собр. соч. в тридцати томах, т. II. М., 1954, 242.

²¹ Там же, т. VII. М., 1956, с. 166, 170.

киным. Много о прошедшем в России, о Петре, Екатерине» (131).

«11 ноября <...> у Пушкин<а> о Екатерине» (131).

В 1830-е годы русская история XVIII века постоянно находилась в центре творческих интересов Пушкина. Естественно, что в беседах с друзьями Пушкин охотно говорил об этом предмете. Оценка двух царствований — Петра I и Екатерины II — вызывала горячие споры в пушкинском кругу. Пометы Пушкина и Тургенева на рукописи Вяземского «Биографические и литературные записки о Денисе Ивановиче Фонвизине, а также «Записные книжки» Вяземского раскрывают перед нами обширную картину словесных баталий.

Когда-то, в 1822 году Пушкин в «Заметках по русской истории XVIII века» окрестил Екатерину «Тартюфом в юбке и в короне». Но уже в этой работе, наряду со злой характеристикой Екатерины, Пушкин отмечает, что благодаря успехам своей внешней политики она имеет право на «благодарность потомства». К 1830-м годам все большее значение приобретает у Пушкина общекультурный аспект «екатерининского века». В 1832 году Пушкин полностью согласен со следующим утверждением Вяземского: «Екатерина не только уважала ум, но любила, не только не чуждалась его, но снисходила к нему, но, так сказать, баловала и щадила неизбежные уклонения его». Против этих слов Пушкин написал: «прекрасно». Чем дальше занимался Пушкин историей, тем сложнее становилось его восприятие царствования Екатерины. Отрицательное не заслоняет положительного, позитивное не мешает видеть негативное. И, кроме того, прошлое соотносится с настоящим; в свои оценки «екатерининского века» Пушкин включает полемический подтекст; в последние годы жизни он как бы противопоставляет идеализированное царствование Екатерины правлению Николая I; в «просвещенном ореоле» Екатерины еще более тускнеет «непросвещенный режим» Николая I.²²

Тургенев часто видится с Пушкиным у Карамзиных, у Смирновой, встречает его в Михайловском театре, на улице, заходит к нему.

²² Подробнее об этом см.: Новонайденный автограф Пушкина, с. 87—105.

«21 ноября. <...> с Пушкиным осмотрел его библиотеку» (132).

Богатая библиотека Пушкина не могла не поразить книголюба Тургенева. Библиотека поэта дошла до нас не целиком — и все-таки сколько в ней сокровищ! Опись ее, составленная Борисом Львовичем Модзалевским, составляет солидный том. Можно себе представить, с каким увлечением рассматривал Тургенев книжные богатства Пушкина. Свою дружескую лепту в накопление этих умственных сокровищ внес и он.

Вот перед нами «Album Littéraire», изданный в Париже в 1832 году. На нижнем конце обложки рукою Александра Ивановича написано: «Журналисту Пушкину от Гремущки-Пилигрима. Любек. 6 июля 1832...»

Томик латинских поэтов Катулла, Тибулла и Проперция. На синей печатной обложке надпись чернилами: «Поэту Пушкину А. Тургенев».

Итальянская книга «Диалоги о событиях, происшедших в 1831 году». На ее обложке сверху написано рукою Тургенева «Рим. 1833 1/13...»

Два тома сочинений Вашингтона Ирвинга во французском переводе; на шмуц-тителе первого тома карандашная помета: «Hôtel d'Autriche, Tourgeneff».²³

Французская книга Луи Пари «История России» с дарственной авторской надписью, адресованной Тургеневу.

Французская книга о суде над Жанной д'Арк, изданная в Париже в 1827 году. Между ее листами сохранилась бумажная закладка, на которой рукою Тургенева написано: «Б. Мих. Федорову».

Наконец, том переписки Вольтера, о котором мы уже упоминали.

Все эти книги перекочевали к Пушкину от «Гремущки-Пилигрима», как себя называл Александр Иванович.

Человек, влюбленный в книги, знает, какое наслаждение рассматривать их вместе с друзьями, обращать их внимание на старинные кожаные переплеты, на заглавия редких изданий, на случайно добытые раритеты. Часы, проведенные у книжных полок «пред солнцем бессмертным ума», стремительно сближают людей, скрепляют их дружбу.

²³ Гостиница «Австрия». Тургенев (франц.). — *Ред.*

И тут-то судьба преподнесла им неожиданное испытание. Несколько дней спустя после осмотра библиотеки Пушкина случилось событие, которое могло надолго омрачить их отношения. «1 декабря <1834>... Оттуда к Пушкин<у>. В театре Мих<айловском> государь и гос<ударын>я, а с ними Фридр.²⁴ с дочерью. — И Пушкины не пригласили меня в ложу... Итак, простите, друзья-сервилисты и друзья-либералы. — „Я в лес хочу“». (132).

Горькая, трагическая запись! Она завершается пушкинскими словами из «Братьев-разбойников»; они подчеркивают одинокость, неприкаянность Александра Ивановича. «Неотразимые обиды» наносят ему и друзья-сервилисты — Блудов, Дашков, Уваров, и друзья-либералы — Пушкин, Жуковский, Вяземский...

Пушкин, конечно, не хотел обижать Александра Ивановича. Но порой поэт вынужден был идти наперекор собственным желанием. Положение его при дворе было исключительно сложным. В конце декабря 1833 года произошло унижительное событие. «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам), — записал Пушкин в дневнике 1 января 1834 года. — Но двору хотелось, чтобы Н<аталья> Н<иколаевна> танцевала в Аничкове» (XII, 318).

С этого времени Пушкин стал особенно тяготиться жизнью в Петербурге. 22 июля 1834 года он занес в дневник: «Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором, — но все перемололось. — Однако это мне не пройдет» (XII, 331). Пушкин подал просьбу об отставке. Бенкендорф известил его, что отставка принята, но тут же было добавлено, что доступ в государственные архивы, данный ему Николаем I, будет аннулирован. Пушкину пришлось взять просьбу об отставке обратно.

25 августа 1834 года Пушкин уехал из столицы в Москву, чтобы не присутствовать вместе с другими камер-юнкерами на торжественном открытии Александровской колонны. По его собственному признанию, он до самой кончины Александра I подсвистывал царю; не захотел он воздавать ему и посмертные почести.

Анонимная эпиграмма на открытие колонны —

²⁴ По-видимому, Цецилия Владиславовна Фридерикс (ум. 1851), приближенная императрицы.

слишком холодна и спокойна, чтобы можно было заподозрить в ее авторстве Пушкина. Напиши он эпиграмму на это событие, она была бы жгучей и язвительной.

После самовольного отъезда в Москву Пушкин не встречал Николая I; царь вернулся в столицу из поездки по Пруссии лишь 28 ноября.

Надвигалась новая неприятность; вскоре предстояло присутствовать на приеме во дворце вместе с другими камер-юнкерами; Пушкин решил уклониться от стояния в одной верноподданнической шеренге с «молокососами 18-летними».

Мог ли Пушкин при этих обстоятельствах пригласить к себе в ложу Тургенева, к которому Николай I относился неприязненно? Подобный поступок был бы распелен как выражение независимости и строптивости. За несколько дней до своего отказа явиться во дворец Пушкин счел за благо не обострять отношений с Николаем I. Было неловко перед Александром Ивановичем, было унижительно и больно, но другого выхода не нашлось.

Досадный эпизод в театре ненадолго омрачил их дружбу; Тургенев сумел великодушно понять Пушкина; а понять значит простить, как гласит французская пословица.

9 декабря 1834 года Александр Иванович посещает Пушкина, и поэт читает ему «примечания письменные на Пугачева, представленные им государю» (133). Официально «Замечания о бунте» были переданы царю через Бенкендорфа лишь 26 января 1835 года. Запись Тургенева от 9 декабря, в которой говорится, что «Замечания о бунте» уже представлены царю, дает основание думать, что первоначально они были показаны Николаю I в частном порядке через кого-либо из друзей Пушкина, скорее всего через Жуковского. Это предположение косвенно подтверждается и письмами Пушкина к Бенкендорфу. Еще 23 ноября 1834 года в письме на имя шефа жандармов Пушкин просил разрешения представить эти замечания на рассмотрение Николая I, а два месяца спустя, 26 января 1835 года Пушкин снова писал Бенкендорфу: «Я просил о дозволении представить оные государю императору, и имел счастье получить на то высочайшее со-

изволение» (XVI, 7). Ясно, что разрешение было получено в обход Бенкендорфа.²⁵

«10 декабря. <...> вечер у Жуков<ского> до 3-го часа: Пушкин, Велугорский, Чернышев-Кругл<иков>»,²⁶ Гоголь <пропуск> напомнил о шутке брата. Кн<язь> Адуев<ский>». ²⁷ Пили за здоровье *Ивана Ник*».

Кто же этот таинственный Иван Ник.? За чье здоровье пили Пушкин и его друзья?

Берем словарь Л. А. Черейского «Пушкин и его окружение» и находим всех лиц, которых звали «Иван Ник.».

Иван Николаевич Гончаров, брат Наталии Николаевны, 24-летний в то время корнет лейб-гвардии Гусарского полка (день рождения — 22 мая).

Иван Николаевич Горсткин, сосланный по делу декабристов в Вятку.

Иван Николаевич Зотов — смотритель типографии Департамента внешней торговли.

Иван Никитич Инзов — председатель Комитета об иностранных поселенцах южного края России (день рождения — 23 декабря).

Иван Николаевич Наумов — купец.

Иван Николаевич Римский-Корсаков — генерал-адъютант (умер 27 января 1831 г.).

Иван Никитич Столяров — крестьянин при Святогорском монастыре.

Просматриваем внимательно этот список и становимся в тупик — нет подходящего кандидата! И еще одно недоумение: с какой стати Тургенев подчеркнул слова «Ивана Ник.»?

Упоминание о «шутке брата», недавние его именины (6 декабря) наводят на мысль о том, что тост на квартире Жуковского был провозглашен за Николая Тургенева. Опасаясь, что дневник его может попасть в руки чиновников III Отделения и скомпрометировать его друзей, пивших за здоровье декабриста-изгнанника, Тургенев за-

²⁵ Б. В. Томашевский датирует «Замечания о бунте» декабрем 1834 г. Запись Тургенева от 9 декабря 1834 г., а также письмо Пушкина к Бенкендорфу от 23 ноября 1834 г. позволяют изменить датировку на ноябрь 1834 г.

²⁶ Чернышев-Кругликов Иван Гаврилович, граф (1787—1847) — муж С. Г. Чернышевой, сестры декабриста З. Г. Чернышева.

²⁷ Одоевский Владимир Федорович (1803—1869) — писатель, двоюродный брат декабриста А. И. Одоевского.

шифровал запись: вместо Николая Ивановича он поставил: Ивана Николаевича, — и подчеркнул эти слова. Жизнь учила осторожности.

Вскоре дилижанс, вечный спутник Тургенева, вез его по знакомой дороге из Петербурга в Москву.

«17 декабря. <...> У Орловых: о Уварове, о стихах Пушкина». Тут и Чадаев» (133).

В доме видного деятеля декабристского движения арзамасца Михаила Орлова, проживавшего в Москве под полицейским надзором, Александр Иванович рассказывал в дружеском кругу о последних, еще не опубликованных произведениях Пушкина. «Скажи Пушкину, что ожидают здесь все его Пугачевщины, а я со всеми, — писал в тот же день Александр Иванович Вяземскому. — Мне нужно иметь ее прежде отъезда, а 3-го генваря надеюсь или страшусь уже не быть здесь.

Красавицам его сердечное приветствие и — извинение, что шлафрока не мог взять с собою. — Начали уже и укладывать его, но надлежало измять — и я не посмел. Впрочем он слишком на вате для Неаполя».²⁸

Александр Иванович вновь собирался за границу; 19 января 1835 года он просил Жуковского: «Пушкину скажи, что я долго ожидал от него Пугачева и беру с собою для Орлова»²⁹ чужой экземпляр». — Здесь все разобраны. Нет ни одного в лавках. Если желает послать ко мне, то пусть отдаст в канцелярию графа Нессельроде, отошлют на Вену. Например пусть отдаст сыну директора канцелярии графа Нессельроде Кудрявскому; он меня знает, но поскорее; может и это сделать чрез Смирнова.

NB. С своим аутографом — на память старины священной!»³⁰

Как непосредственно и трогательно звучит последняя фраза! Унеслось облачко минутной неприязни, нерушимой нежностью к Пушкину веет от этих слов Александра Ивановича.

²⁸ ИРЛИ, ф. 309, № 4714. Опубликовано частично в ЛН, т. 58, с. 110. — Шлафрок, по-видимому, предназначался Карамзиным, которые в то время путешествовали по Италии.

²⁹ Орлов Алексей Федорович (1786—1861) — генерал-адъютант, брат М. Ф. Орлова.

³⁰ ИРЛИ, ф. 309, № 4714.

Тургенев не дождался в Москве желанного подарка, и пять недель спустя, 27 февраля 1835 года он писал из Вены Жуковскому: «Экз<емпляр> Орлова, Пугачевщины, читал посол³¹ и переходит из русских рук в руки. Я ожидал здесь получить другой экз<емпляр> для себя.

Скажи поэту-историку, что его помнит соименитая графиня (урожд. Урус<ова>). Посылаю в Москву множество указаний о новых явлениях в славянской литературе, и полное собрание песен народных, едва изданное.

Пушкиным, Гончаровым поклон».³²

«Соименитая графиня» — это Мария Александровна Мусина-Пушкина (урожд. Урусова, 1801—1853). Отец ее был женат на Екатерине Павловне Татищевой, сестре русского посла в Вене, в доме которого и видел ее Александр Иванович. По авторитетному свидетельству Вяземского, Пушкин был влюблен в Марию Александровну и посвятил ей стихотворение «Кто знает край, где небо блещет...»; оно, как установил М. А. Цявловский, относится к концу 1827 или к началу 1828 года, когда Мусина-Пушкина и поэт встречались в петербургских гостиных.³³

Покоренный ее красотой, Пушкин писал, что «рай полуденной природы» и «чудеса немых искусств» бледнеют перед ней:

Стоит ли с важностью очей
Пред флорентинскою Кипридой,
Их две... и мрамор перед ней
Страдает, кажется, обидой.
Мечты возвышенной полна,
В молчанье смотрит ли она
На образ нежной Форнарины
Или Мадонны молодой,
Она задумчивой красой
Очаровательней картины...

И как было не помнить поэта, посвятившего ей такие стихи!

Строки письма Тургенева «о новых явлениях в славянской литературе» также прямо касались Пушкина.

³¹ Татищев Дмитрий Павлович (1767—1845) — русский посол в Вене.

³² ИРЛИ, ф. 309, № 4714. — Частично и с искажением слова «соименитая» приведено в ЛН, т. 58, с. 116.

³³ Цявловский М. А. Статьи о Пушкине. М., 1962, с. 369—378.

Еще 9 декабря 1834 года Тургенев отметил в дневнике после посещения Пушкина: «Прислать ему из Москвы славянские книги». По адресу своей двоюродной сестры Александры Ильиничны Нефедьевой Тургенев обычно пересылал книги и бумаги в свой московский архив. Посылки его в большинстве своем шли через Петербург — и не по почте, а обычно с надежной оказией. По-видимому, сообщая в письме к Жуковскому о содержании очередной посылки, Тургенев полагал, что эти книги заинтересуют Пушкина.

Мелькают заставы. Из Вены Александр Иванович направился в Италию и занялся поисками бумаг, относящихся к истории России, в Ватиканском архиве. Получить доступ в этот секретнейший архив было нелегко, для иностранца почти невозможно. Но Тургенев сумел преодолеть все препоны и препятствия. Александр Иванович изучает архивные фолианты, отыскивает нужные бумаги, нанимает писцов; у него на квартире растет гора копий, снятых с давно забытых документов.

В свободное время Александр Иванович посещает музеи, дворцы, антикварные лавки. «Посылаю тебе и Пушкину по черепаховой лире из-под неба| Виргилия, от Эоловой арфы», — писал он 9 апреля 1835 года Жуковскому.³⁴ Лучший подарок трудно было приобрести! Тут оказалось кстати и его арзамасское прозвище — Эолова арфа, которым он последние годы подписывал в журналах свои заграничные корреспонденции.

Прожив три месяца в Италии, Тургенев отправляется в июне в Париж; в августе он пересекает Ламанш и недолго живет в Лондоне. В сентябре Александр Иванович возвращается в Париж и обосновывается во французской столице до середины июня 1836 года. Все эти месяцы он занят кропотливыми разысканиями в архивах Лондона и Парижа.

«Наконец добился я здесь Пушкина „Пугачева“: его читает теперь мой сожитель, — писал Тургенев Вяземскому в декабре 1835 года. — Где автор, и не высидел ли чего на псковском пепелище?»³⁵

³⁴ ЛН, т. 58, с. 116.

³⁵ ЛН, т. 58, с. 118. — Сожитель — вероятно, брат Николай.

В этом же письме Александр Иванович просил передать Пушкину, что у княгини Анны Александровны Голицыной должны находиться материалы по истории Пугачева; Тургенев явно знал, что Пушкин собирался выпустить второе издание своего труда, и хотел обогатить его новыми документами.

Тургенев — неперемный посетитель литературных салонов Парижа, постоянно рассказывающий французским писателям о новых явлениях в русской словесности. 24 февраля 1836 года он сообщал Вяземскому: «Вчера провел я первый вечер у Ламартина. Он просит у меня стихов Пушкина в прозе; стихов переводных не хочет. Я заказал сегодня графу Шувалову перевести, но еще не остановился на выборе пьесы».³⁶

Пушкин, по-видимому, знал об интересе Ламартина к его творчеству; ведь месяцем раньше Вяземский писал Тургеневу, чтобы тот «в ожидании стихов Пушкина» перевел и передал Ламартину какое-нибудь стихотворение Кольцова.³⁷

Сам Пушкин не был поклонником поэзии Ламартина. Если в 1823 году в черновике письма к Вяземскому были строки о том, что «первые думы Ламартина в своем роде едва ли не лучше Дум Рылеева», то с середины 1820-х годов его отзывы о французском поэте становятся все строже. В одной из заметок 1830-х годов Пушкин вспоминал о том, «как сладкозвучный, но однообразный Ламартин готовил новые благочестивые Размышления» (XI, 175).

В глазах Пушкина благочестие отнюдь не являлось аттестатом глубокого ума и искреннего чувства. «Благочестивому» Ламартину Пушкин полемически противопоставлял «любезного повесу» Альфреда де Мюссе: «Сладострастные картины, коими наполнены его стихотворения, превосходят, может быть, своею живостью самые облаженные описания покойного Парни» (Там же).

Об этом «любезном повесе» Вяземский писал Турге-

³⁶ ОА, т. 3, с. 301. — Шувалов Григорий Петрович (1804—1861) — сотрудник русского посольства в Париже.

³⁷ Там же, с. 289. — Тургенев пытался, правда, безуспешно, получить от Ламартина материалы для «Современника»: «Ламартин обещал мне прислать экземпляр своей речи для Пушкина», — писал он Вяземскому 24 апреля 1836 г. (ЛН, т. 58, с. 120).

песу: «Альфред Мюссе решительно головою выше в современной фаланге французских литераторов. Познакомься с ним и скажи ему, что мы с Пушкиным угадали в нем великого поэта, когда он еще шалил...»³⁸

Совет Вяземского пришелся по душе Александру Ивановичу; он вскоре познакомился с Альфредом де Мюссе и, надо думать, передал ему лестный отзыв своих петербургских друзей.

Трудно назвать имя какого-либо известного французского литератора того времени, с которым не был бы знаком Тургенев. Доброжелательная общительность Александра Ивановича, его острый интерес к людям и книгам привлекали к нему внимание многих французских писателей. Среди его знакомых Шатобриан, Ламартин, Альфред де Мюссе, Мериме, Стендаль и, наконец, Бальзак. «Сегодня познакомился я у M-me Visconti с новым Бальзаком: он похож округлостью фигуры, и дородством, и сертуком на Парижского дьячка», — писал Тургенев 2 (14) октября 1835 года Жуковскому.³⁹

Два месяца спустя, 1 (13) декабря Александр Иванович сообщал Вяземскому о своих новых встречах с французским писателем: «3-го дня Киселкева» давала нам обед, на коем был и Бальзак, коего я на вечеринке у Мятлкева» представил m-me Laval. Обед был оживлен нашим разговором.

Бальзак умен, остер, но в разговоре и в обществе слишком ищет блеснуть; и выше и далее ума ничего не видит, — даже и в женщинах! В последнем романе описал он себя и свои... и уверяет (как слышу), что у гения обыкновенно шея коротка: у него совсем нет ее, и между туловищем и головою один воротничек».⁴⁰

За этой непринужденной салонной болтовней о Бальзаке скрывалось, между тем, глубокое понимание его творческой индивидуальности: «... в Бальзаке много ума и воображения, но и странностей: он заглядывает в самые сокровенные, едва приметные для других щелки человеческого сердца и нашей искони прокаженной природы. Он физиолог и анатом души: его ли вина, что души часто

³⁸ ОА, т. 3, с. 289. Письмо от 23 января 1836 г.

³⁹ ИРЛИ, ф. 309, № 4714. — Цит. по машинописной копии письма Тургенева.

⁴⁰ ИРЛИ, ф. 309, № 2580 (многоточие в подлиннике письма).

без души? а кое-где еще и с крепостными душами? (что хуже всякого бездушия)». ⁴¹

Ближе всего к этой проникновенной оценке творчества Бальзака отзыв Вяземского, полагавшего, что «Отец Горио» «очень замечателен, и одно из лучших произведений последней французской нагой литературы». ⁴² Значительно сдержаннее относился к Бальзаку Пушкин. По справедливому наблюдению Б. В. Томашевского, «раздраженные отзывы Пушкина вызывались не столько самими стилистическими приемами Бальзака, сколько обилием деталей, нарушавших классическое чувство меры, свойственное Пушкину». ⁴³

Как было угадать будущие события? Кто мог предполагать, что Бальзак станет соперником Данте, что в его душе зреет грандиозный замысел «Человеческой комедии»? Как бы удивился Пушкин, если бы он узнал, что его одесская знакомая Эвелина Ганская, за которой в 1820-е годы ухаживал Александр Раевский, уже положила сердце Бальзака и станет перед смертью французского писателя его женой?..

Пространные письма-корреспонденции Александра Ивановича шли из Парижа в Петербург. Они отправлялись с надежной оказией или с дипломатической почтой; это давало возможность писать «спустя рукава», т. е. не опасаясь перлюстрации, о злободневных политических, общественных и литературных событиях. Эти письма читались и оживленно обсуждались в пушкинском кругу. 29 декабря 1835 года Вяземский писал Тургеневу: «Я читал твое письмо в субботу у Жуковского, который сзывает по субботам литературную братию на свой олимпийский чердак. Тут Крылов, Пушкин, Одоевский, Плетнев, барон Розен etc, etc. Все в один голос закричали: „Жаль, что нет журнала, куда бы выливать весь этот кипяток, сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего!“». ⁴⁴

⁴¹ РС, 1881, т. 31, с. 202. Из письма к К. С. Сербиновичу от 2 (14) ноября 1835 г.

⁴² ОА, т. III, с. 268.

⁴³ Томашевский Б. В. Пушкин и Франция. Л., 1960, с. 167.

⁴⁴ ОА, т. 3, с. 281.

В этих письмах нет обычного эпистолярного обращения: к такому-то, дорогому или многоуважаемому; без всяких околичностей сразу начинается повествование, а сверху — в последний момент, перед отправкой письма — появляется торопливая надпись: Вяземскому, или: Жуковскому, или: Вяземскому или Жуковскому, или: Жуковскому и Вяземскому.

Это не адресат в обычном смысле, а лишь указание, на чье имя посылается письмо. Настоящий адресат этих писем — петербургские друзья, следовательно — и Пушкин. Но на них нет надписи «Александр Сергеевичу», и поэтому им нет места в двухсторонней переписке академического издания сочинений Пушкина. Многие из них остались неизданными. А ведь именно из писем Тургенева черпал Пушкин всестороннюю информацию о жизни Западной Европы.

Письма Тургенева, этот «сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего», были сущей находкой для Пушкина-журналиста. 19 января 1836 года Вяземский сообщал Александру Ивановичу в Париж: «Пушкину дано разрешение издавать журнал, род „Quarterly Review“. Прошу принять это не только к сведению, но и к исполнению и писать свои субботние письма почище и лучше; только с тем, что ты не последуешь русскому обычаю вышереченному, то есть „тех же щей, да пожиже“; нет, „тех же щей, да побольше“, потому что мы намерены расхоронить тебя на здоровье журналу и читателям. Пушкин надеется на тебя».⁴⁵

Письмо Вяземского задержалось. О «Современнике» Александр Иванович узнал стороной. 5 марта он отписал Вяземскому и Жуковскому: „Последнее письмо мое с д'Андре⁴⁶ было от 29 февраля. Ему отдали его, когда уже он садился в коляску; другое было писано с ним же накануне. Если бы я знал тогда, что Пушкин сделался журналистом, то уладил бы письмо так, чтобы он мог выбрать из него несколько животрепещущих крох с богатой трапезы европейской.

Годятся ли ему эти крохи, т. е. мои письма? Мы бы могли и отсюда переключиваться и потом из Германии, на которую взгляну пристально, хотя и мимоездом, и —

⁴⁵ ОА, т. 3, с. 286.

⁴⁶ Д'Андре — секретарь французского посольства в Петербурге.

из Москвы, где надеюсь найти прежние письма и привести и собрать свежие впечатления. Передавать ли их журналисту Пушкину? Ожидаю от него скорого и откровенного ответа и, в случае согласия, — условия о том, что ему нужно и на каком основании и чего он преимущественно желает».⁴⁷

Пока шел обмен письмами, Пушкин и Вяземский уже «кроили» корреспонденции Тургенева для первого тома «Современника». Переписаны каллиграфическим почерком последние февральские «донесения» Александра Ивановича; им присваивается название «Париж (Хроника русского)».⁴⁸

Три месяца спустя первый том пушкинского журнала появляется на столе парижской квартиры Тургенева. В Петербург летит отчаянное письмо: «Сию минуту прочел я „Современник“; я еще весь в жару и в бешенстве. Никогда я не ожидал от вас такой легкости, едва ли не преступной, и неосмотрительности — разве я позволял вам печатать все ничтожности и личности? <...> Теперь ваша обязанность, обязанность Пушкина и Вяземского спасти меня от дальнейших неприятностей, сказав, что это я посылал к себе мой дневник, не скрывая ни дел, ни мнений от друзей, но никогда не желая о других мыслить вслух с публикой. <...> Подумайте об исправлении сколько возможно вашей обидной для меня ветрености. Повторяю запрещение печатать что-либо во второй книжке, кроме объяснения в мою пользу».⁴⁹

Редко писал Александр Иванович такие крутые письма. И тем не менее упреки его справедливы лишь отчасти; он не подумал о том, что цензурные изъятия обеднили текст «Хроники русского» и второстепенные события невольно выдвинулись на передний план. Между тем Пушкин и Вяземский охотно исполнили просьбу Александра Ивановича; во втором томе «Современника» появилось редакционное объяснение; оно защищало автора «Хроники русского» от возможных нареканий и в то же время поразительно верно характеризовало неповторимый «почерк» его корреспонденций:

⁴⁷ ЛН, т. 58, с. 119.

⁴⁸ В последнее время эти корреспонденции были собраны в кн.: Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). М.—Л., 1964.

⁴⁹ ЛН, т. 58, с. 128—129.

«Глубокомыслие, остроумие, верность и тонкая наблюдательность, оригинальность и индивидуальность слога, полного жизни и движения, которые везде пробиваются сквозь небрежность и беглость выражений, служат лучшим доказательством того, чего можно было бы ожидать от пера, писавшего таким образом *про себя*, когда следовало бы ему писать *про других*.

Мы имели случай стороною подслушать этот *à part*,⁵⁰ подсмотреть эти ежедневные, ежеминутные отметки, и торопились, как водится ныне в эпоху разоблачения всех тайн, поделиться удовольствием и свежими современными новинками с читателями „Современника“. Можно было бы, и по некоторым отношениям следовало бы для порядка, дать этим разбросанным чертам стройное единство, облачить в литературную форму. Но мы предпочли сохранить в нем живой, теплый, внезапный отпечаток мыслей, чувств, впечатлений, городских вестей, бульварных, академических, салонных, кабинетных движений, — так сказать *стенографировать* эти горячие следы, эту лихорадку парижской жизни».⁵¹

Кого не удовлетворило бы столь искусно составленное редакционное объяснение? Тургенев торжествовал. Мир был восстановлен. Печатание «Хроники русского» возобновилось в четвертом томе «Современника».

Просветительская роль А. И. Тургенева, — живого посредника между русской культурой и культурой Западной Европы, — постепенно проясняется. Правда, многие сотни страниц его дневников и писем еще ждут своего опубликования и осмысления. И тем не менее уже можно делать предварительные выводы. Многолетнее общение А. И. Тургенева с западноевропейской интеллигенцией сблизило передовую Россию, писателей пушкинского круга с иностранными деятелями культуры, и прежде всего со множеством французских писателей, историков, ученых. Правомерно утверждать, что Александр Иванович — предшественник И. С. Тургенева в пропаганде русской литературы за рубежом, равно как и французской в России.

⁵⁰ Про себя (франц.). — *Ред.*

⁵¹ «Современник», 1836, т. 2, с. 311—312. — Автор редакционного объяснения до сих пор не установлен; одни исследователи полагают, что оно написано Пушкиным, другие настаивают на авторстве Вяземского, об этом см.: Рыскин, с. 47—50.

Для нас, людей XX века, «Записки императрицы Екатерины II» и «Записки княгини Е. Р. Дашковой» — исторические источники, читая которые мы глубже постигаем прошлое. Во времена Пушкина эти мемуары еще были огнедышащими вулканами; их раскаленная лава не успела остыть; они были переполнены намеками на злобу дня; тщетно пыталось правительство изъять из обращения списки крамольных воспоминаний.

Мемуары продолжали оставаться злободневными и два десятилетия спустя, когда они были напечатаны в изданиях Вольной русской типографии в Лондоне; избличая историю царствующей династии, историю закулисную, темную и порой непристойную, полную жестких интриг и необузданного разгула страстей, эти «замогильные голоса» помогли Герцену выставить на всеобщее обозрение тайные пороки самодержавия.

Княгиня Екатерина Романовна Дашкова была выдающейся русской женщиной XVIII века; в предисловии к ее запискам Герцен писал: «В Дашковой чувствуется та самая сила, не совсем устроенная, которая рвалась к просторам жизни из-под плесни московского застоя, что-то сильное, многостороннее, деятельное петровское, ломоносовское, но смягченное аристократическим воспитанием и женственностью».¹

¹ Герцен А. И. Собр. соч. в тридцати томах, т. XII, М., 1957, с. 362.

Дашкова родилась в 1743 году в семье Воронцовых, давшей России прославленных государственных деятелей. Ее отец Роман Илларионович Воронцов был сенатором и генерал-аншефом; ее дядя Михаил Илларионович, в доме которого она воспитывалась, играл видную роль в царствование Елизаветы Петровны, занимая посты вице-канцлера, а затем канцлера; он покровительствовал Ломоносову, интересовался успехами отечественной науки. Братья Дашковой — Александр и Семен Романовичи Воронцовы — стяжали широкую известность на дипломатическом поприще.

Любознательная Екатерина Романовна жадно читала книги, учила иностранные языки; благодаря упорству и настойчивости она стала одной из образованнейших женщин своего времени; в 1783 году Екатерина II назначила ее президентом Петербургской академии наук и Российской академии.

Дашкова подолгу жила за границей; там она знакомилась с памятниками старины, изучала политические установления западноевропейских стран, встречалась с писателями, философами, учеными, общественными деятелями. На страницах ее записок мелькают имена Вольтера и Дидро, борца за независимость Корсики Паоли, английского историка Робертсона, французского публициста Рейналя, шотландского математика Фергюсона, французского астронома Лаланда и многих других. Она много повидала на своем веку, ей было о чем вспомнить.

У каждого человека бывают свои пристрастия. У одних они выказывают мелочность натуры, у других — широту ее. Дашкову влекло к людям талантливым, эрудированным, высоко возвышавшимся над посредственностью. Одним из таких людей, безусловно, был глава французских энциклопедистов Дени Дидро. О своих встречах с этим выдающимся человеком Дашкова рассказывает в своих записках особенно подробно, не спеша, словно боясь упустить какую-либо подробность.

«В Париже я пробыла всего 17 дней и не хотела видеть никого, за исключением Дидро, — вспоминала Дашкова. — Обыкновенно я выходила из дому в 8 часов и до трех пополудни разъезжала по городу, затем останавливалась у подъезда Дидро; он садился в мою карету, я везла его к себе обедать и наши беседы с ним длились иногда до двух, трех часов ночи. <...>

Все 17 дней моего пребывания в Париже были для меня крайне приятными, так как я посвятила их осмотру достопримечательностей, а последние 10—12 дней провела всецело в обществе Дидро». ²

По свидетельству же Дидро, оставившего статью о своем знакомстве с Дашковой, он «провел с ней в это время четыре вечера, от пяти часов до полночи, имел честь обедать и ужинать, и был почти единственным французом, которого она принимала». ³

Сведения Дидро более точные, чем запись Дашковой: он писал статью в 1770 году, по горячим следам своих встреч с русской путешественницей; Дашкова писала по памяти, спустя три с половиной десятилетия. Впрочем, возможно, что ее ошибка в арифметике обязана не провалам памяти, а ее желанию изобразить свои отношения с Дидро более основательными, чем они были на самом деле; скорее всего это было сознательное преувеличение, искусная ретушь — для потомства; ведь она не знала, что в бумагах Дидро лежит рукопись статьи, которая изобличит ее.

«Несмотря на погоду ноябрьскую, Дашкова каждое утро выезжала около девяти часов и никогда не возвращалась домой раньше вечера, к обеду, — продолжает Дидро. — Все это время она отдавала осмотру замечательных вещей, картин, статуй, зданий и мануфактур.

Вечером я приходил к ней толковать о предметах, которых глаз ее не мог понять и с которыми она могла вполне ознакомиться только с помощью долгого опыта, — с законами, обычаями, правлением, финансами, политикой, образом жизни, искусствами, науками, литературой; все это я объяснял ей, насколько сам знал. <...>

Она искренно ненавидит деспотизм и все проявления тирании. Она коротко знакома с настоящим управлением и откровенно говорит о добрых качествах и недостатках представителей его. Метко и справедливо раскрывает выгоды и пороки новых учреждений». ⁴

Настоящим управлением Дашкова и Дидро именовали английские конституционные порядки. Однако стоило завести разговор о ее родине, как представления Дашковой о социальном устройстве круто менялись.

² Дашкова Е. Р. Записки. СПб., 1907, с. 101—107.

³ Дашкова Е. Р. Записки. Лондон, 1859, с. 372.

⁴ Дашкова Е. Р. Записки. Лондон, 1859, с. 372—376.

«Когда Екатерина задумала издать Свод законов, она спросила совета у Дашковой, которая заметила: „Вы никогда не увидите окончания его, и в другое время я сказала бы вам причину; но и попытка великое дело; самый проект составит эпоху“». ⁵

Мы не знаем, был ли подобный разговор между Екатериной II и Дашковой, не сочинен ли он задним числом, чтобы представить себя в пророческом ореоле перед французским философом; в данном случае нас интересует не историческая точность свидетельства Дашковой, а самый смысл ее прогноза, ее сомнение в возможности введения в России XVIII века свода законов, который в какой-то мере ограничил бы произвол самодержавной власти.

Подобная же двойственность — расхождение между теоретическим признанием свободы в области социальных отношений и несвоевременности ее осуществления в условиях России второй половины XVIII века — свойственна Дашковой и в вопросе о крепостном праве. Излагая содержание своих бесед с Дидро, она писала, что «однажды разговор коснулся рабства наших крестьян». Княгиня уверяла Дидро, что она установила в своем «орловском имении такое управление, которое сделало крестьян счастливыми и богатыми и ограждает их от ограбления и притеснения мелких чиновников». Дидро возразил ей: «Но вы не можете отрицать, княгиня, что, будь они свободны, они стали бы просвещеннее и вследствие этого богаче».

Дашкова не стала оспаривать мнение Дидро. «Если бы самодержец, — ответила я, — разбивая несколько звеньев, связывающих крестьянина с помещиками, одновременно разбил бы звенья, приковывающие помещиков к воле самодержавных государей, я с радостью и хоть бы своею кровью подписалась бы под этой мерой». Как мы видим, Дашкову сильнее волновал вопрос о независимости дворянского сословия по отношению к верховной власти, нежели величайшая социальная проблема России, проблема бесправия крестьян. Ей мерещилась палата лордов, идеалом ее было политическое верховенство аристократии.

«Просвещение ведет к свободе; свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок, — продолжала свою мысль княгиня. — Когда низшие классы

⁵ Там же, с. 376.

моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, так как они только тогда сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушая порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления».

«Вы отлично доказываете, дорогая княгиня, но вы меня еще не убедили», — вежливо, но в то же время непреклонно ответил ей Дидро.

И тут Дашкова блеснула замысловатым сравнением, уподобив крепостного слепорожденному: «„... мне представляется слепорожденный, которого поместили на вершину крутой скалы, окруженной со всех сторон пропастью; лишенный зрения, он не знал опасностей своего положения и беспечно ел, спал спокойно, слушал пение птиц и иногда сам пел вместе с ними. Приходит незадачливый глазной врач и возвращает ему зрение, не имея, однако, возможности вывести его из его ужасного положения. И вот — наш бедняк прозрел, но он страшно несчастен; не спит, не ест и не поет больше; его пугают окружающая его пропасть и доселе неведомые ему волны; в конце концов он умирает в цвете лет от страха и отчаяния“».

Дидро вскочил при этих словах со своего стула, будто подброшенный невидимой пружиной. Он заходил по комнате большими шагами и, сердито плюнув на землю, воскликнул:

„Какая вы удивительная женщина! Вы переворачиваете вверх дном идеи, которые я питал и которыми дорожил целых двадцать лет“».⁶

Взволнованно шагая по комнате, Дидро, вероятно, вспоминал лето 1749 года, когда его арестовали и посадили в Венсенский замок. Свыше трех месяцев продержали его в тюрьме; власти пытались запугать его, автора «Письма о слепых в назидание зрячим».

Дашкова, конечно, читала это смелое произведение своего собеседника. В этом письме Дидро атаковал религиозные догматы и философский идеализм.

Власти просчитались. Арест не запугал его. Напротив, насилие вызвало в нем резкое противодействие. Он переходит в наступление; вместе с друзьями он начинает выпускать тома «Энциклопедии», мощные просветитель-

⁶ Д а ш к о в а Е. Р. Записки. СПб., 1907, с. 101—103.

ские снаряды, которые били по твердыне французского абсолютизма.

С «Письма о слепых в назидание зрячим» начинался, по сути дела, истинный Дидро; поэтому оно было особенно дорого философу, поэтому полемические выпады Дашковой против его мыслей, высказанных в этом письме, особенно взволновали его.

«Внешние признаки власти, оказывающие такое действие на нас, нисколько не смущают слепых. Наш слепой явился к полицейскому чиновнику, как к равному. Угрозы не напугали его. „Что можете вы сделать со мной?“ — сказал он г-ну Эро. „Я засажу вас в тюремный карцер“, — ответил ему чиновник. „О сударь, — возразил ему слепой, — вот уже двадцать пять лет, как я сижу в нем“. Что за изумительный ответ, сударыня, и что за тема для человека, любящего так морализировать, как я! Мы покидаем жизнь, как волшебное зрелище, слепой покидает ее, как темницу...»⁷

И вот находится женщина, которая переворачивает вверх дном его мысль. Дидро любил парадоксы. Но он не любил, когда его оружие обращали против него самого. А ведь нельзя отказать княгине в том, что она изобрела парадоксальную ситуацию — слепорожденный на вершине скалы!

Конечно же, Дашкова понимала, что в письме Дидро образ слепорожденного искусно менялся по прихоти автора; на некоторых страницах в его уста он вкладывал свои собственные мысли.

«Если бы какой-нибудь человек, обладавший зрением лишь в течение дня или двух дней, очутился среди народа, состоящего из слепых, он должен был бы молчать, чтобы не прослыть сумасшедшим. Он ежедневно возвещал бы им какое-нибудь чудо — чудо, которое было бы таковым только для них и в которое их вольнодумцы отпихивались бы верить. Не могли ли бы защитники религии почерпнуть в свою пользу доводы из столь упорного, столь справедливого в известных отношениях и, однако, столь мало обоснованного неверия? Если вы примете на минуту это допущение, то оно должно будет вам напомнить — в другом виде — историю с преследованием людей, находивших несчастье открыть истину в эпохи мрачного невежества и неблагоприятно сообщивших ее своим слепым

⁷ Дидро Д. Избранные произведения. М.—Л., 1951, с. 268.

современникам, среди которых у них не было более ожесточенных врагов, чем те, кто по своему состоянию и воспитанию должен был как будто быть ближе всего к их взглядам».⁸

В этой тираде слепой, ставший зрячим, — сам Дидро, навлекший на себя ожесточенную хулу фанатиков. Не таким, совсем не таким изображает Дашкова прозревшего слепца. Она умудрилась так перелицевать ситуацию, что находит в ней аргументы в защиту рабского состояния. Дидро кинулся в атаку. Но что он ответил княгине, неизвестно; в своих записках Дашкова оборвала изложения их беседы. Ей хотелось запечатлеть их спор таким образом, как будто один из умнейших французских энциклопедистов капитулировал перед ее доводами. Будь это так, Дидро не был бы Дидро!

Между тем в действительности Дидро остался непоколебимым защитником свободы; 3 апреля 1771 года он писал Дашковой: «У каждого века есть свой отличительный дух. Дух нашего времени — дух свободы. Первый поход против суеверия был жестокий и запальчивый. Когда же люди осмелились один раз пойти против религиозного рожна, самого ужасного и самого почтенного, остановить их невозможно. Если один раз они гордо взглянули в лицо небесного величества, вероятно, скоро восстанут и против земного. Веревка, стягивающая шею всего человечества, состоит из двух снурков, из которых нельзя разорвать одного без разрыва другого».⁹

Читая эти строки, беспощадные и прозорливые, мы можем себе представить, какую жестокую отповедь обрушил Дидро на Дашкову во время их спора в Париже.

Два с половиной года спустя Дидро приехал в Петербург. Однако в России им не удалось встретиться: Дидро жил в столице, Дашкова — в Москве. Он послал княгине из Петербурга два письма; он продолжал считать ее в числе своих хороших знакомых. «Вы, конечно, помните, с какой свободой вы позволяли мне говорить в улице Гренвиль, — писал Дидро, — той же свободой я пользуюсь и в царском дворце; я могу все говорить, что ни попадет

⁸ Дидро Д. Избранные произведения. М.—Л., 1951, с. 270

⁹ Дашкова Е. Р. Записки. Лондон, 1859, с. 363.

и голову; — умно, когда я считаю себя дураком, и глупо, когда мне кажется, что мудрым.

Идеи, перенесенные из Парижа в Петербург, принимают совершенно другой цвет». ¹⁰

Знаменательное признание! Как ни очаровала известного философа русская императрица, хоть он и писал, что у нее душа Брута, а сердце Клеопатры, споры на берегах Невы, в преддверии огромной страны, стонущей под игом самовластия, носили практический, а не отвлеченный характер, как это было во время бесед его с Дашковой в одном из парижских особняков. Жестокая правда разрушила иллюзии Дидро, ранее полагавшего, что Екатерина II будет действовать по его предначертаниям.

Прошло еще несколько лет. В 1780 году Дидро и Дашкова снова встретились в Париже. «С невыразимую радостью я увидела Дидро, поцеловавшего меня с той теплою сердечностью, которою отличались его отношения к друзьям. <...> Дидро, несмотря на слабое здоровье, поощрял меня почти ежедневно». ¹¹

Такова история знакомства Дашковой с Дидро. В ее отзывах о французском философе каждый читатель ее писюк может обнаружить трогательное почитание и глубочайшее уважение: «Я очень любила в Дидероте даже и запальчивость его, которая была в нем плодом смелого поззрения и чувства; откровенность его, искренняя любовь, которою любил он друзей своих, гений его, проникательный и глубокомысленный, участие и уважение, всегда им мне оказанные, привязали меня к нему на всю жизнь. Я оплакала смерть его и не перестану оплакивать его до последнего дыхания жизни.

Худо умели ценить эту необыкновенную голову: добродетель и правота руководствовали всеми его поступками и общее благо были исканием и страстью его постоянными. Если опрометчивостью своей впадал он иногда и заблуждение, то и тогда бывал искренен и сам себя обманывал». ¹²

Встречи Дашковой с Дидро, ее восторженные суждения о французском просветителе были по достоинству оценены в пушкинском кругу. Вяземский привел по ру-

¹⁰ Там же, с. 365.

¹¹ Дашкова Е. Р. Записки. СПб. 1907, с. 137.

¹² Вяземский П. А. Полн. собр. соч., т. V. СПб., с. 86.

копировать только что прочитанную нами характеристику Дидро и далее с удовлетворением отметил: «Мне приятно было резким приговорам Фонвизина противопоставить благонамеренный отзыв нашей же соотечественницы; это будет от лица русских примирительное, очистительное жертвоприношение памяти мужей, которые имели свои заблуждения и погрешности, но ознаменовали земное поприще свое заслугами просвещению и, следовательно, человечеству».¹³

Споры Дашковой с Дидро на острые социальные и политические темы не прошли мимо сознания Пушкина, автора «Капитанской дочки» и «Истории Пугачева».¹⁴ Ведь эти споры затрагивали важнейшие проблемы русского общественного развития, и во времена Пушкина они были не менее актуальны, чем за три года до пугачевского восстания, когда в Париже французский философ и русская княгиня пылко опровергали друг друга; естественно, что Пушкин с особым вниманием прочел страницы воспоминаний о беседах Дашковой с Дидро. И быстрый карандаш поэта оставил свой след на одной из этих страниц...

Личная жизнь Дашковой сложилась неудачно. Она рано овдовела; князь Дашков умер летом 1764 года — Екатерине Романовне едва исполнилось двадцать лет, Мужа она любила без памяти. На всю жизнь она осталась верна своему первому чувству.

Дети — сын и дочь — не оправдали ее надежд. Она дала первоклассное воспитание сыну (он обучался в Эдинбургском университете), но не смогла осилить природу: сын не унаследовал ума рода Воронцовых. Зато он был изумительно красив: он оказался сыном своего отца. Мужская красота, как известно, ценилась при дворе Екатерины II. Алексей Орлов, встретив Дашкову с сыном за границей, с циничной откровенностью предложил ей сделать молодого Дашкова фаворитом императрицы. Княгиня с негодованием отвергла это предложение; не о такой карьере мечтала она для сына.

¹³ Там же, с. 86—87. — Poleмический выпад Вяземского по-казывает, как по-разному воспринимали Пушкин и его литературные соратники французских просветителей. Подробнее об этом см.: Новонайденный автограф Пушкина, с. 79—87.

¹⁴ Об этом см.: Оксман Ю. Г. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева. Саратов, 1959, с. 66—70.

Сын осмелился самовольно жениться на дочери таможенного чиновника. Это было ни с чем не сообразно. Незыблемые устои аристократической морали оказались под ударом. От признания равенства людей во время бесед с просвещенными европейцами до принятия этого принципа в основу собственных поступков оказалась дистанция огромного размера. Дашкова не признала неравного брака; она заставила сына разъехаться с женой. И тем не менее, как она полагала, ее престижу был нанесен непоправимый урон; она не простила сына; княгиня отказалась приехать к нему, когда он умирал. Тяжело же ей было нести крест своего крутого, деспотического нрава! С дочерью отношения были враждебные.

В 1803 году судьба преподнесла ей неожиданный подарок. К ней приехала погостить молоденькая мисс Вильмот, близкая родственница ее ирландских друзей. Дашкова всем сердцем привязалась к ней.

По настоянию мисс Вильмот Дашкова решила писать воспоминания. К изумлению молодой девушки княгиня объявила, что мемуары будут посвящены ей с тем, чтобы она впоследствии издала их в свет.¹⁵ Мисс Вильмот удивлялась, почему Дашкова предназначала ей роль издательницы своих воспоминаний. Княгиня лучше ее знала условия отечественного книгопечатания; записки, повествующие о восшествии на престол Екатерины II, мемуары, в которых излагались споры автора с Дидро о крепостничестве, и многое другое не могли быть напечатаны даже в первые либеральные годы царствования Александра I.

Мисс Вильмот уехала на родину. После смерти Дашковой (она скончалась в январе 1810 года) мисс Вильмот хотела сразу же издать ее записки. Однако неожиданно возникли препятствия. В Лондоне жил брат Дашковой, Семен Романович Воронцов. Правда, с 1806 года он не был уже русским послом в Англии; но он обосновался в английской столице на правах частного лица. Ему стало известно о том, что готовятся к изданию записки его сестры, и он воспротивился опубликованию их. Воронцов умер в Лондоне в 1832 году. И только восемь лет спустя, в 1840 году мисс Вильмот напечатала английский перевод воспоминаний Дашковой.

¹⁵ Д а ш к о в а Е. Р. Записки. Лондон, 1859, с. 405.

Это издание привлекло внимание Герцена; он написал блестящий историко-психологический этюд «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова» и поместил его в «Полярной звезде». По его совету М. Мейзенбуг перевела записки Дашковой с английского на немецкий язык; это издание записок с предисловием Герцена появилось в 1857 году в Германии. Два года спустя в Лондоне вышел русский перевод записок, осуществленный Г. Е. Благосветловым; ему также было предпослано предисловие Герцена.

В России превосходные записки Дашковой (так их аттестовал Герцен) впервые были напечатаны по-французски в 1881 году в XXI томе «Архива кн. Воронцова». Наконец, в 1907 году появилось отдельное русское издание. Для широкого русского читателя записки находились под спудом целое столетие.

Однако воспоминания Дашковой имели не только печатную, но и рукописную историю. После смерти княгини один экземпляр записок, найденный в ее бумагах, попал в руки Ю. А. Нелединского-Мелецкого. С этого экземпляра была снята копия для П. А. Вяземского. Это было в середине 1810-х годов — бумага, на которой переписаны записки Дашковой, имеет четкий водяной знак: 1814. Именно эту копию записок читал Пушкин.

В 1830-е годы Пушкин усердно изучал исторические источники. Его работа по истории XVIII века — от Петра I до Пугачева — требовала тщательных разысканий документов; он добился допуска в секретные архивы, получил разрешение ознакомиться с бумагами Вольтера, хранившимися в Эрмитажной библиотеке.

В эти годы мысль Пушкина неоднократно возвращалась к запретному имени Радищева. Именно к 1833—1836 годам, когда Пушкин работал над статьями о Радищеве, относится чтение им воспоминаний Дашковой. Сведения об авторе «Путешествия из Петербурга в Москву» были наперечет, и Пушкин старался восполнить нехватку печатных материалов рукописными источниками. У издателя «Отечественных записок» П. И. Свиньина он попросил записки секретаря Екатерины II А. В. Храповицкого; в них были вкраплены ценные свидетельства о ходе следствия над крамольным писателем. Естественно, что записки Дашковой, в которых также гово-

рилось о Радищеве, привлекали внимание Пушкина — благо рукописная коллекция Вяземского была к его услугам.

Пушкин выписал из «Записок» Дашковой строки о Радищеве и вступил затем с ней в замаскированную полемику. Речь шла о произведении Радищева «Житие Ф. В. Ушакова», его друга, умершего в молодости. Сравним отзывы Дашковой и Пушкина об этом некрологе.

«Мой брат имел под своим началом коммерц-коллегию и таможни, — писала Дашкова об Александре Романовиче Воронцове. — Я встречала у него одного молодого человека, г. Радищева, который получил образование в Лейпциге и к которому брат был очень привязан. Однажды в Российской академии, в доказательство того, что у нас много писателей, не знающих родного языка, мне показали брошюру, которую написал и издал этот самый Радищев. Это было жизнеописание одного из его товарищей по учению в Лейпциге, некоего Ушакова, и похвальное слово ему: Я об этом в тот же вечер сказала брату, который начал с того, что послал к книгопродавцу на этой брошюрой. Я заметила ему, что его протеже страдает зудом писать, несмотря на то что ни его стиль, ни его мысли не переварены как следует, и что у него встречаются даже мысли или выражения, опасные по нашему времени.

Несколько дней спустя мой брат сказал мне, что я слишком строго осудила маленькое произведение Радищева, что он прочитал его и что о нем можно было бы сказать, что оно лживо, ибо этот Ушаков никогда не сделал и не написал ничего замечательного, вот и все.

Возможно, сказала я, что слишком много строгости в вынесенном мною суждении. Но, так как брат интересовался автором, я сочла своим долгом предупредить его тем, что, казалось мне, я усмотрела в этой глупой маленькой брошюре: что, когда человек существовал лишь для того, чтобы спать, пить и есть, он не мог бы найти панацеистов, разве что в лице некоторых, охваченных безумием печататься при жизни, и что этот писательский зуд может привести его протеже к тому, что он напишет в будущем что-нибудь еще более предосудительное».¹⁶

¹⁶ «Рукою Пушкина». Подг. к печати и коммент. М. А. Цявловский, Л. Б. Модзалевский, Т. Г. Зенгер. М.—Л., 1935, с. 591 (подлинник по-французски).

Сравним строгий приговор Дашковой со словами Пушкина о «Житии Ф. В. Ушакова». В запрещенной цензурой статье «Александр Радищев» (недозволенная к печати распоряжением министра народного просвещения С. С. Уварова, она впервые была опубликована лишь в 1857 году) Пушкин, по сути дела, возражал княгине: «Радищев написал „Житие Ф. В. Ушакова“. Из этого отрывка видно, что Ушаков был от природы остроумен, красноречив и имел дар привлекать к себе сердца. Он умер на 21 году своего возраста от следствий невоздержанной жизни, но на смертном одре он еще успел преподать Радищеву ужасный урок. Осужденный врачами на смерть, он равнодушно услышал свой приговор; вскоре муки его сделались нестерпимы, и он потребовал яду от одного из своих товарищей. Радищев тому воспротивился, но с тех пор самоубийство сделалось одним из любимых предметов его размышлений» (XII, 31).

Дашкова сочла Ушакова ничтожеством, Пушкин же обратил внимание в первую очередь на привлекательные черты его характера, на его стойкость перед лицом смерти.

В отзыве Дашковой явственно проступает неприязненное отношение к личности Радищева; в статье Пушкина заметно нескрываемое восхищение нравственной непоколебимостью писателя, «политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестью» (XII, 32—33).

Запомним этот скрытый эпизод принципиальной полемики Пушкина с Дашковой; вскоре мы сможем дополнить его новым, ранее неизвестным, расхождением в их взглядах.

Интерес Пушкина к воспоминаниям Дашковой не ограничивался страницами, посвященными Радищеву. Ведь Дашкова подробно описывала события, приведшие к воцарению Екатерины II, а во времена Пушкина эта тема была под строгим запретом: цензура не допускала в печать ни мемуаров, ни статей, излагавших историю дворцовых переворотов прошлого столетия. Между тем закулисная подоплека русского XVIII века издавна привлекала внимание Пушкина, писавшего еще в 1822 году заметки по русской истории XVIII столетия.

Сохранился листок бумаги, на котором Пушкин конспективно изложил свой разговор с дочерью Дашковой: «Разумовский, Никита Панин, заговорщики. Г<осподни> Дашков, посол в Константинополе. Влюблен в Екатерину. Петр III ревнует к Елизавете Воронцовой. (Г-жа Щербинина)» (XII, 204; подлинник частично по-французски).

Госпожа Щербинина — это Анастасия Михайловна Щербинина, урожденная Дашкова. Она скончалась 19 июля 1831 года, а незадолго до ее смерти, 20 февраля Пушкин был на балу в ее доме в Москве. По всей вероятности, приведенная выше запись сделана Пушкиным зимой 1831 года. Щербинина, зная со слов матери подробности заговора 1762 года рассказывала Пушкину о бурных событиях того времени.

Читая «Записки» Дашковой, Пушкин, конечно, припомнил свой разговор с ее дочерью. Пушкин прочел в воспоминаниях Дашковой о том, как она вовлекла в заговор своего дядю графа Никиту Ивановича Панина и фельдмаршала графа Кирилла Григорьевича Разумовского. Эти страницы ее записок имели особый, родословный интерес для поэта. В одной из заметок своих «Застольных разговоров» («Table-talk») Пушкин писал: «Граф К. Разумовский был в заговоре 1762 г. Исполнение было ускорено изменою одного из сообщников. Екатерина уже бежала из Петергофа, а Разумовский еще ничего не знал. Он был дома. Вдруг слышит, к нему стучатся. „Кто там?“ — „Орлов, отоприте“. Алексей Орлов, которого до тех пор гр. Разумовский не видывал, вошел и объявил, что Екатерина в Измайловском полку, но что полк, взволнованный двумя офицерами (дедом моим Л. А. Пушкиным и не помню еще кем), не хочет ей присягать. Разумовский взял пистолеты, поехал в фуре, приготовленной для посуды, явился в полк и увлек его. Дед мой посажен в крепость, где и сидел два года» (XII, 162).

Об этом же происшествии Пушкин вспоминает в «Моей родословной»:

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верев оставался
Паденью третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин.

Так драматически скрестились судьбы деда Пушкина и княгини Дашковой. Ведь она была среди тех, кого Екатерина II щедро наградила в первые же дни своего царствования.

Впрочем, поэт знал, что и Дашкова, взявшая сторону Екатерины II, недолго была в чести. По своим природным задаткам Дашкова была рождена властвовать. Понятно, что ей приходилось трудно при дворе Екатерины II. Две властные натуры не способны мирно ужиться друг с другом. Даже назначив Дашкову президентом Академии наук, а затем и Российской академии (учрежденной по совету княгини), императрица порой выказывала ей неодобрение. 4 декабря 1833 года Пушкин занес в свой дневник:

«...вечером у Загряжской (Нат. Кир.). Разговор о Екатерине: Наталья Кирилловна была на галерее вместо с Петром III во время революции.

Только два раза видела она Екатерину сердитою, и оба раза на княгиню Дашкову. Екатерина звала ее в Эрмитаж. Кн. Дашкова спросила у придворных, как ходят они туда. Ей отвечали: через алтарь. Дашкова на другой день с десятилетним сыном прямо забралась в алтарь. Остановилась на минуту — поговорила с сыном о святости того места — и прошла в Эрмитаж.

На другой день все ожидали государыню, в том числе и Дашкова. Вдруг дверь отворилась, и государыня влетела, и прямо к Дашковой. Все заметили по краске ее лица и по живости речи, что она была сердита. Фрейлины перепугались. Дашкова извинялась во вчерашнем проступке, говоря, что она не знала, чтобы женщинам был запрещен вход в алтарь.

— Как вам не стыдно, — отвечала Екатерина. — Вы русская — и не знаете своего закона; священник принужден на вас мне жаловаться...

Наталья Кирилловна рассказала анекдот с большой живостью. Княгиня Кочубей заметила, что Дашкова вошла, вероятно, в алтарь в качестве президента Русской академии. Второго анекдота я не выслушал» (XII, 316).

Пушкин записал рассказ Наталии Кирилловны Загряжской, урожденной графини Разумовской, дочери того самого Кирилла Григорьевича Разумовского, решительный пример которого во многом способствовал успеху дворцового переворота 1762 года. Так в застольных бесе-

дах оживали перед Пушкиным события минувших лет, рельефнее вырисовывалась колоритная фигура княгини Дашковой.

Однако вернемся к клочку бумаги, на которой Пушкин занес свой разговор со Щербининой. Как мы помним, он записал о влюбленности князя Дашкова в Екатерину II. Это свидетельство поможет нам уточнить отношение Пушкина к воспоминаниям Дашковой. Ведь порой незаметные и на первый взгляд маловажные сведения дают новое, неожиданное освещение всей картины, нарисованной тем или иным мемуаристом. Чтобы прокомментировать эту запись Пушкина, необходимо вспомнить историю замужества Дашковой.

В 1759 году Екатерина Романовна Воронцова, 15-летней девушкой, по любви вышла замуж за блестящего, молодого, богатого офицера Преображенского полка князя Михаила Ивановича Дашкова. Через два года супруги переехали из Москвы в Петербург. Сестра Дашковой Елизавета Романовна была любовницей Петра III. Сама же Дашкова, вопреки желанию родных, избрала опасную дорогу. Она сблизилась с Екатериной и вступила в ряды заговорщиков. Дашкова была смелая женщина, за себя она не боялась. Но страстно любимого мужа она не хотела подвергать опасности. Страшась за его судьбу — заговор мог быть раскрыт — Дашкова выхлопотала ему пост русского посла в Константинополе, куда он и уехал в феврале 1762 года.

Не исключено, впрочем, что имелась еще одна веская причина, по которой Дашкова решила удалить мужа из Петербурга: ревность. В своих «Записках» княгиня не обмолвилась о влюбленности Дашкова в Екатерину II; однако косвенное подтверждение этой версии содержится в письме княгини к миссис Гамильтон: «Я знаю только два предмета, которые были способны воспламенить мои бурные инстинкты, не чуждые моей природе: неверность мужа и грязные пятна светлой короны Екатерины II».¹⁷

Для Пушкина рассказ Щербининой о влюбленности ее отца в Екатерину II мог иметь психологический интерес. В своих воспоминаниях Дашкова объясняет внезапное охлаждение к ней со стороны Екатерины II неприязненными отношениями, которые сложились между нею,

¹⁷ Д а ш к о в а Е. Р. Записки. Лондон, 1859, с. 359.

Дашковой и Алексеем Орловым, братом фаворита императрицы. Между тем увлечение князя Дашкова (можно думать, что Екатерина II не была слишком строга к красивому поклоннику) не могло не отразиться на отношениях между императрицей и ее ближайшей наперсницей, княгиней Дашковой. В ее «Записках», однако, нет ни единого слова об этом вольном эпизоде из жизни екатерининского двора.

Сопоставляя рассказ Щербининой и воспоминания Дашковой, Пушкин мог убедиться, с какой осторожностью и критицизмом следует относиться к мемуарным источникам, насколько устное предание способно углубить, психологически уточнить, сделать более выпуклыми и обоснованными печатные и рукописные материалы.

Итак, по всей вероятности, Пушкин читал воспоминания Дашковой не только с неослабевающим вниманием, но и с явной настороженностью. Несправедливая оценка личности Радищева, сокрытие от потомства всей сложности своих отношений с Екатериной II, идеализация своих собственных побуждений и поступков, все это должно было вызывать раздумья, стремление досконально проверить сообщаемые ею факты, ее характеристики и оценки. Порой подобное строгое, аналитическое чтение источника наталкивало даже на возражения. Именно спором с Дашковой является помета Пушкина на рукописи ее «Записок»; эта помета касается отношения Дашковой к Дидро.

Ранее мы познакомили читателей с отзывом Дашковой о Дидро. Не правда ли, трогательная идиллия? Независимая, широко образованная русская аристократка превозносит до небес одного из столпов французского энциклопедизма, атеиста (или, как писал Пушкин, «афея»), вольнодумца Дидро. Читая ее прочувствованный панегирик, Пушкин должен был размышлять над тем, насколько слова Дашковой соответствовали ее внутренним убеждениям, насколько прочно укоренились в ее сознании принципы, сторонницей которых она с таким блеском выставляла себя в своих воспоминаниях. Ведь в ее отзывах о Дидро могло быть двойное, даже тройное преломление действительных событий сквозь призму психологии и времени.

Безусловно, остроумный и проницательный Дидро, один из умнейших людей французского Просвещения, вызывал искреннее восхищение Дашковой. И вместе с тем в своем стремлении быть на равной ноге с Дидро, созна-

тельно или бессознательно, Дашкова могла выказывать себя с определенной, наиболее выгодной стороны. Этому мог способствовать и сам Дидро; ведь ум собеседника порой магически действует на его партнера; естественно, что фейерверк мысли Дидро вызывал ответные импульсы и русской путешественнице, воспитанной на лучших образцах французской просветительской литературы. Легко себе представить, что во время их бесед она мыслила большее и острее, чем обычно. Обаяние этих встреч безусловно отразилось на восторженной характеристике Дидро в ее воспоминаниях.

Чем безудержнее восхищалась Дашкова французским философом, тем соблазнительнее была мысль изблечить ее в искусственном пафосе. Пушкин продолжал читать ее «Записки», и вскоре ему удалось обнаружить неприметный на первый взгляд, но, если хорошенько вдуматься, весьма примечательный эпизод, показывающий, что у Дашковой вслед за «взлетами» ее встреч с Дидро бывали «падения», столь свойственные русским барам XVIII века. Пушкин следовал за Дашковой в ее путешествии по Франции; и вот что он прочитал о посещении ею театра в Лионе.

«В первый же спектакль мы отправились в театр: леди Райдер, m-me Гамильтон, госпожа Каменская и я; но каково было наше удивление, когда в отведенной нам ложе я нашла четырех лионских дам, расположившихся в ней; на представление моего проводника, что ложа эта предназначена герцогом для знатных иностранных дам, они, будто глухонемые, не двигались с места и ничего не отвечали. Я попросила проводника более не беспокоиться, говоря, что спектакль не представляет для меня особенного интереса, и решила вернуться домой. Леди Райдер и госпожа Каменская остались стоять за этими наглыми женщинами, а мы с m-me Гамильтон вернулись к себе».

Реакция Дашковой вызвала возражение Пушкина; он подчеркнул слова «наглыми женщинами» («*femmes impertinentes*») и написал на полях: «*Diderot, docteur et apôtre de l'égalité, qui l'auteur admire, n'aurait pas dit cela*». ¹⁸

Перевод: «Дидро, учитель и апостол равенства, которым автор восхищается, так бы не выразился».

¹⁸ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1196, л. 88.

В беседах с Дидро сконцентрирована идейная проблематика воспоминаний, и понятно, что именно эти страницы вызвали наиболее пристальное внимание Пушкина. Как только Дашкова, незаметно для самой себя, проговаривается, Пушкин хватается ее за руку; Вы признаете Дидро необыкновенным человеком, Вы преклоняетесь перед ним, так извольте следовать его наставлениям — такова по существу мысль Пушкина, высказанная в его лаконичной помете на полях рукописи.

Дидро был одним из тех писателей и философов французского Просвещения, жизнь и деятельность которого остро интересовали Пушкина. В библиотеке поэта сохранилось многотомное издание сочинений Дидро, или, как говорили во времена Пушкина, Дидерота, дополнительный том его неизданных произведений, четырехтомное издание, включающее обширную переписку Дидро с его возлюбленной Софи Воллан, скульптором Фальконе, видным деятелем русского просвещения И. И. Бецким, воспоминания дочери Дидро и некоторые другие материалы.

Просматривая эти книги, легко убедиться в том, что Пушкин внимательно читал произведения Дидро. Правда, его драмы («Побочный сын», «Отец семейства») не понравились Пушкину: он осидил лишь их первые акты — остальные страницы не разрезаны; частично разрезаны и «Салоны».

Зато эпистолярное наследие философа, «Племянник Рамо», «Прогулка скептика», «Парадокс об актере», «Монахиня» разрезаны полностью, равно как и многие мелкие прозаические произведения; среди них и мемуарная статья Дидро о Дашковой. На полях этой статьи мы встречаем карандашные отчеркивания. В свое время М. А. Цявловский высказал предположение, что эти отчеркивания сделаны Пушкиным.¹⁹ И хотя это являлось бы еще одним аргументом, доказывающим заинтересованность Пушкина личностью Дашковой, мы вынуждены оспорить это предположение.

Сопоставление этих отчеркиваний с подобными же карандашными отчеркиваниями мест в рукописи «Записок» Дашковой, также посвященных беседам с Дидро, не оставляет сомнения в том, что в обоих случаях отчеркивания сделаны одним и тем же лицом. Между тем часть

¹⁹ Рукою Пушкина, с. 593.

отчеркнутых мест из «Записок» Дашковой приведена в монографии Вяземского о Фонвизине. Приходится признать, что и отчеркивания в сочинениях Дидро принадлежат Вяземскому. В этом нет ничего удивительного: как Пушкин пользовался рукописными материалами богатой коллекции Вяземского, так и последний широко читал книги из библиотеки Пушкина. Из письма Вяземского к Пушкину, посланного в середине февраля 1836 года, известно, что он просил прислать ему сочинения и мемуары Дидро.

Имя Дидро встречается в ряде произведений Пушкина. В стихотворении «К вельможе» (оно обращено к князю Н. Б. Юсупову, который встречался с Дидро во время своего путешествия по Европе в первой половине 1770-х годов) поэт писал:

Ученье делалось на время твой кумир:
Уединялся ты. За твой суровый пир
То читатель промысла, то скептик, то безбожник,
Садился Дидерот на шаткий свой треножник,
Бросал парик, глаза в восторге закрывал
И проповедовал. И скромно ты внимал
За чашей медленной афею иль деисту,
Как любопытный скиф афинскому софисту.

В первоначальном варианте XXII строфы седьмой главы «Евгения Онегина», очерчивая круг чтения своего героя, Пушкин упоминал имя Дидро, наряду с именами Вольтера, Гельвеция, Гольбаха, Руссо и других философов, историков и писателей.

Судя по одному из черновиков «Капитанской дочки», у Пушкина мелькала мысль вывести Дидро среди действующих лиц этой повести. «Пугачев разбит. Мол^одой Шв^анвич^ч взят — Отец едет просить. Орлов. Екате^рина Дидерот — Казнь Пугачева» (VIII, 929).

В статье «Александр Радищев» Пушкин, высказывая критические замечания о французских энциклопедистах, писал, что «другие мысли, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учеников Дидрота и Руссо...» В этой же статье, причислив Радищева к «представителям полупросвещения», Пушкин выводил эту характеристику из его близости к энциклопедистам: «В Радищеве отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналья...» (XII, 36).

Но даже отрицательные стороны личности Дидро, его «политический цинизм», не могли поколебать его общую оценку в глазах Пушкина. Из всей когорты энциклопедистов он особо выделяет Дидро — «апостола равенства». «Апостол» — в словоупотреблении Пушкина — «адепт», «пылкий приверженец». В другой раз он называет Дидро «апостолом Вольтера». Пушкин любил метафорическое, переносное значение этого слова; он говорил об «апостоле гибели» — Марате, и даже именовал своего лицейского учителя Галича «апостолом неги и прохлады». Он употреблял слово в этом значении даже тогда, когда казалось бы, естественно было ожидать его прямой (религиозный) смысл; «апостолы Корана» в «Путешествии в Арзрум» означают «фанатических приверженцев ислама».

Однако вернемся к помете Пушкина. Если вспомнить расхождения между теоретическими построениями и практическими действиями Дашковой во многих случаях жизни, то следует признать, что помета Пушкина, написанная по частному случаю, точно характеризует непоследовательность ее идейной позиции.

Новонайденная помета Пушкина органически включается в круг размышлений поэта о соответствии или несоответствии жизненных принципов человеческим поступкам, о нравственной ценности и цельности личности. Все мы помним строки из первой главы «Евгения Онегина»:

Руссо (замечу мимоходом)
Не мог понять, как важный Грим
Смел чистить ногти перед ним,
Красноречивым сумасбродом.
Защитник вольности и прав
В сем случае совсем неправ.

Как и в примере с Дашковой, Пушкин укорял Руссо в непоследовательности, в том, что провозвестник «вольности и прав» не при всех жизненных обстоятельствах был верен своей теоретической позиции.

На самом деле, оскорбленный неблагодарностью Гримма, нанесшего ему множество обид, Руссо усмотрел в эпизоде с чисткой ногтей еще одно подтверждение пренебрежительного отношения к себе. И хотя все содержание «Исповеди» свидетельствовало о частых проявлениях неприязни аристократа Гримма к плебею Руссо, Пушкин не счел нужным вникать в существо их разногласий; он взял из контекста сложных отношений Руссо и Гримма отдель-

ный штрих, по которому можно судить, насколько безраздельно идея равенства проникла в сознание писателя, насколько она стала неотъемлемой частью его самого. Характерно, что этот «срыв» Пушкин ищет не в высокой сфере рассуждений, где человек, как правило, бывает начеку и старается не допустить противоречий, а в быту, в обыденной ситуации.

Десятилетие отделяет строки «Евгения Онегина» о Руссо и Гримме от пометы на рукописи воспоминаний Дашковой. В обоих случаях Пушкин соотносит поведение человека и принципы, выдвинутые или исповедуемые им. В одном случае Пушкин уличает плебея Руссо, в другом — княгиню Дашкову. Однако было бы поспешно на этом основании делать вывод о направлении идейной эволюции Пушкина. Другие высказывания его (в частности, о своем шестисотлетнем дворянстве, о майорате) говорят о том, что сословные градации до конца жизни составляли существенный элемент его взглядов. В наших примерах речь идет не об идейных симпатиях и антипатиях Пушкина, а о его попытках вскрыть противоречия в психологии различных общественных групп.

Проблема цельности человека, его нравственного и общественного облика постоянно вызывала интерес зрелого Пушкина. Он внимательно следил, соответствует ли внешняя деятельность человека, и в особенности творческой личности, его внутренней сущности.

«Повторяю, что История государства Российского есть не только создание великого писателя, — писал Пушкин, — но и подвиг честного человека» (XI, 57).²⁰

Подвигом честного человека, по сути дела, считал Пушкин и деятельность Радищева, действовавшего «с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестью» (XII, 32—33). В этическом плане Пушкин явно сближает имена Карамзина и Радищева.

На другом полюсе у Пушкина мыслители иного нравственного склада, не брезгавшие таскаться «по передним вельмож» — среди них мы встречаем и имя «апостола свободы» — Дидро. Так вступает в силу подвижная шкала оценок, при которой позиция Дидро воспринимается Пушкиным то положительно, то отрицательно.

²⁰ Об этом см.: Вацуро В. Э. Подвиг честного человека. — «Прометей», № 5, 1968, с. 8—51.

Пожалуй, еще строже, нежели «политический цинизм» Дидро, осуждает Пушкин поведение Вольтера, который в своих сношениях с Фридрихом II сам напросился на «жалкое посрамление». Заканчивая свое твердое суждение о Вольтере, Пушкин писал, «что гений имеет свои слабости, которые утешают посредственностью, но печалит благородные сердца, напоминая им о несовершенстве человечества; что настоящее место писателя есть его ученый кабинет и что наконец независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и над бурями судьбы» (XII, 81).

В трудные годы николаевского царствования этический вопрос становится вопросом политическим, вопросом достойного поведения писателя; именно поэтому проблема нравственного достоинства неотступно присутствует в сознании Пушкина.²¹

²¹ Эта проблема вызывала не только раздумья, но и споры; отголоски этих споров запечатлены в пометах Пушкина на полях рукописи Вяземского о Фонвизине (см.: Новонайденный автограф Пушкина, с. 85—86).

После закрытия «Европейца» (1832) и «Московского телеграфá» (1834) просьбы о разрешении новых журналов рассматривались неохотно и по большей части отклонялись. Пушкин знал, что время не благоприятствовало его журнальным замыслам. Но существовать без своего печатного органа с каждым годом становилось невыносимое. Оставался единственный выход — ходатайствовать об издании типа альманаха, без упоминания крамольного слова «журнал». Пушкин так и сделал. В конце 1835 года он отправил письмо Бенкендорфу с просьбой разрешить ему издать в следующем году «4 тома статей: чисто литературных (как-то повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности: на подобие английских трехмесячных Reviews» (XVI, 69).

Николай I разрешил «означенное периодическое сочинение». Внешние препятствия, таким образом, были преодолены. Но оставались внутренние затруднения. «Современник» был задуман Пушкиным как печатный орган писателей его круга. Несколько месяцев спустя Пушкин писал, что «он вполне признает справедливость объявления, напечатанного в „Северной пчеле“: „Современник“ по духу своей критики, по многим именам сотрудников, в нем участвующих, по неизменному образу мнения о предметах, подлежащих его суду, будет продолжением „Литературной газеты“» (XII, 184).

Однако протекшие пять лет не прошли бесследно. Многое изменилось. Умерли Дельвиг и Сомов; отошел от литературной деятельности Катенин; Ивану Киреевскому, на критический дар которого возлагали справедливые на-

дежды в пушкинском кругу, было запрещено печататься. Правда, в то же время стало намечаться сближение с Гоголем, Одоевским, Тютчевым. Но не эти изменения явились определяющими для судьбы пушкинского круга писателей. Главное заключалось не в динамике имен — всякому литературному течению свойственно и терять соратников, и приобретать новых, — а во внутренней динамике социальных процессов, в уменьшении влияния передовой дворянской литературы на интенсивный процесс созидания отечественной культуры.

Процесс надвигавшейся изоляции мы можем особенно отчетливо проследить на примере пушкинского «Современника». В нем участвовали известнейшие писатели того времени, но насколько узок их круг! Вспомним имена сотрудников этого издания.

Первый номер. Пушкин, Жуковский, Гоголь, Вяземский, А. И. Тургенев, Козловский, Розен, Казы Гирей Султан.

Второй номер. Пушкин, Вяземский, Казы Гирей Султан, Дурова, А. Н. Муравьев, Кольцов, Одоевский, Емичев, Языков, Золотницкий, Розен.

Третий номер. Пушкин, Гоголь, Вяземский, Козловский, Одоевский, Тютчев, Денис Давыдов, Погодин, Стромилов, Небольсин.

Четвертый номер. Пушкин, Вяземский, А. И. Тургенев, А. Н. Муравьев, Тютчев, Денис Давыдов, Баратынский, Л. Якубович, Н. Титов.

Даже произведения самого Пушкина, обильно печатавшиеся в «Современнике», не спасли издание от неуспеха. Если первые два номера были отпечатаны в количестве 2400 экземпляров, то третий номер — 1200, а четвертый — 900 экземпляров. Эти цифры наглядно свидетельствуют о падении былого влияния писателей пушкинского круга. Среди многочисленной читательской аудитории наибольшим успехом пользовалась «Библиотека для чтения». Чтобы поколебать ее могущество, требовалось вступить в коалицию с передовыми демократическими деятелями. Два года спустя это веление времени поймет Владимир Одоевский, реорганизуя на новых началах «Отечественные записки».

Обособленная социальная позиция «Современника» четко обозначена в двух поэтических декларациях его издателя.

Первый номер открывается стихотворением Пушкина «Шир Петра Первого». Вновь, как и десять лет назад в «Стансах», Пушкин указывает Николаю I на великодушные его пращура — Петра I.

Нет! Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

Иносказание было столь явным, что не требовалось особой пронизательности для его разгадки: Пушкин вновь призвал царя оказать милость декабристам. Вот что писал по этому поводу в своем дневнике 14 апреля 1836 года председатель Ученого комитета Морского министерства Л. И. Голенищев-Кутузов:

«Вторник 14. Наконец появилось то, что ожидалось с таким нетерпением — „Современник“ Пушкина, и с первой же страницы чувствуется отпечаток его духа; *Шир в Петербурге* повествует в гармоничнейших стихах о пире, устроенном Петром Великим не в честь победы и торжества, рождения наследника или именин императрицы, но в честь прощения, оказанного им виноватым, которых он обнимает, — стихи звучат по-пушкински, выражения, свойственные ему, так, например, спрашивая о причине пира, он говорит:

Не родила ль Екатерина,
Не именинница ль она,
Чудотворца исполина
Чернобровая жена.¹

Не распространяясь уже о стихе, сама идея стихотворения прекрасна, это урок, преподанный им нашему дорогому и августейшему владыке — без всякого вступления, предисловия или посвящения журнал начинается этим стихотворением, которое могло быть помещено и в середине, но оно в начале, и именно это обстоятельство характеризует его...»²

¹ Л. И. Голенищев-Кутузов не совсем точно цитирует четверостишие Пушкина.

² ГПБ, ф. 201, № 30 (перевод с французского). — Подлинный текст записи см.: Гиллельсон М. И. Отзыв современника

Отзыв Л. И. Голенищева-Кутузова о «Современнике» — отзыв человека, находившегося во враждебном Пушкину общественном лагере. Несколько месяцев спустя Л. И. Голенищев-Кутузов вступит в полемику с Пушкиным по поводу стихотворения «Полководец».³ Смелый по ступок Пушкина — призыв к милосердию — был по достоинству оценен не только друзьями, но и врагами его.

Вслед за «Пиром Петра Первого» была анонимно напечатана статья П. А. Плетнева «Императрица Мария», посвященная женскому образованию в России. Высказывалось предположение, что «статья Плетнева по замыслу редактора-издателя призвана была сыграть роль благонамеренного фасада, по которому „начальство“ должно было судить о направлении всего журнала».⁴ В доказательство своего мнения М. Еремин ссылается на Ф. Булгарина, который, рецензируя «первый том журнала Пушкина, отозвался об этой статье коротко, но в достаточной степени выразительно: «Статья о благотворительности в бозе почившей императрицы Марии Федоровны по важности содержания ее не подлежит критике».⁵ Доля истины в предположении М. Еремина, конечно, имеется — Пушкин начинал издание «Современника» в трудных условиях, при недоверии властей и при недоброжелательном отношении других печатных органов; при такой ситуации требовалась особая осмотрительность; конечно, Пушкин понимал, что статья П. А. Плетнева будет доброжелательно принята в высших сферах и даже несколько сгладит впечатление от демонстративного помещения «Пира Петра Первого» в самом начале номера. И тем не менее вряд ли прав М. Еремин, когда он проти-

о «Пире Петра Первого» Пушкина. — Временник Пушкинской комиссии. 1962. М.—Л., 1963, с. 50—51.

³ Об этом см.: Мануйлов В. А. и Модзалевский Л. Б. «Полководец» Пушкина. — Пушкин. Временник Пушкинской комиссии, 4—5. М.—Л., 1939, с. 125—164; Черейский Л. А. К стихотворению Пушкина «Полководец». — Временник Пушкинской комиссии. 1963. М.—Л., 1966, с. 56—58; Кока Г. Пушкин о полководцах двенадцатого года. — «Прометей», № 7, 1969, с. 17—37; Вацуро В. Э. «Полководец». — В кн.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972, с. 259—266.

⁴ Еремин М. Пушкин-публицист. М., 1963, с. 262.

⁵ Там же.

вопоставляет эту статью другим материалам «Современника». Есть основание думать, что выбор этой статьи свидетельствовал о пристальном внимании Пушкина к вопросу женского образования.

В статье «Отрывки из писем, мысли и замечания» (1827) Пушкин с иронией писал о том, что «Магомет оспоривает у дам существование души», что «во Франции, в земле прославленной своею учтивостью, грамматика торжественно провозгласила мужеский род благороднейшим», что «даже люди, выдающие себя за усерднейших почитателей прекрасного пола, не предполагают в женщинах ума, равного нашему, и, приноравливаясь к слабости их понятия, издают ученые книжки для дам, как будто для детей...» (XI, 53). Домостроевские предрассудки были чужды Пушкину; он отдавал должное душевным качествам и умственным способностям женщин; известно, как высоко он ценил талант мадам де Сталь, как деятельно помогал русским писательницам (Н. А. Дуровой, Л. О. Ишимовой). В «Рославлеве» (1831) он утверждал: «Нет сомнения, что русские женщины лучше образованы, более читают, нежели мужчины, занятые бог знает чем» (VIII, 156). Пушкин, как мы видим, понимал под женским образованием не только занятия в учебных заведениях, но и то, что теперь называем самообразованием («более читают, более мыслят»). Писатель справедливо полагал, что женская образованность является существенной и неотъемлемой частью общего просвещения России.

Недавно было обнаружено еще одно свидетельство, относящееся к последним дням жизни Пушкина. В Остафьевском архиве сохранилось письмо учителя Царско-сельского лицея, автора «Элементарной французской грамматики» (ч. 1, 1836) И. И. Трико к редакторам «Современника»: «Покойный господин А. Пушкин, мой бывший ученик, который сохранил приятное воспоминание о наших давних школьных отношениях, с интересом выслушал план моего сочинения и полностью одобрил его за несколько дней до того прискорбного события, которое его похитило у его семьи, у его друзей и у славы его страны; мы провели вместе вечер и много говорили о моей риторике для молодых девиц, которая тогда наконец только что появилась. Господин Пушкин мне сказал: „Я хотел бы сделать обстоятельный обзор вашего сочинения; вы

знаете, с каким интересом я отношусь к учебным заведениям ведомства ее величества императрицы и вообще к женскому образованию в России; вы сделали им истинный подарок“. Князь Х... присутствовал при этой беседе». ⁶

Теме отечественного просвещения была посвящена и статья П. Б. Козловского «Разбор парижского математического ежегодника на 1836 год». Автор ее — человек энциклопедических знаний, прекрасный знаток древних языков и последних достижений математической науки, много лет живший в странах Западной Европы (когда-то при Александре I он был на дипломатической службе, затем ушел в отставку и бывал за границей для собственного удовольствия и образования); внимательный наблюдатель, П. Б. Козловский отмечает значительные успехи в распространении научных знаний во Франции и Англии; ученые этих стран не гнушаются покинуть свои кабинеты, и многолюдные аудитории с интересом и пользой слушают их лекции. В России же, как замечает автор, наука все еще остается достоянием небольшого круга ученых. Почему? «Некоторые полагают, что издавна у нас введенная постепенность в гражданскую жизнь, совсем неизвестная для Европы, мешает способностям молодых людей развиваться и совершенствоваться посвящением многих лет, потому что и при самом успехе не получили бы они в обществе того веса и тех преимуществ, которые ежедневными и по большей части незначущими канцелярскими упражнениями они необходимо приобретут с течением времени и с получением гражданских чинов; что лихорадочное стремление, неизбежно мучающее служащих и их родственников, к достижению таковых повышений, иногда и не распространяющих круга их деятельности, но всегда дестных для малого честолюбия, отнимают спокойствие духа, необходимое для наук». ⁷

⁶ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 5249, л. 1 (перевод с французского). — Подлинный текст письма см.: Гиллельсон М. И. Из архива Вяземских. Пушкин и Трико. — Временник Пушкинской комиссии. 1964. Л., 1967, с. 44—47. — Там же дан реальный комментарий к статье П. А. Плетнева. Князь Х... — Хилков Дмитрий Александрович (1789 — не ранее 1860) — участник Отечественной войны 1812 г., с 1816 года в отставке, в 1825—1828 годах секретарь императрицы Марии Федоровны.

⁷ «Современник», 1836, т. 1, с. 246—247.

«Издавна у нас введенная постепенность в гражданскую жизнь» — это пресловутая табель о рангах, всеобъемлющая чиновная иерархия, отвлекающая, по мнению автора, молодое поколение от стремления раскрыть свои таланты и дарования на научном поприще. Как известно, недовольство табелью о рангах высказывал и Пушкин; правда, свое неодобрение этой бюрократической лестницы Пушкин мотивировал иными причинами, нежели П. Б. Козловский; табель о рангах, по мнению Пушкина, распатывала социальные устои независимого старинного дворянства, открыв доступ в господствующее сословие выходцам из других слоев общества. Два различных аргумента против чиновной иерархии дополняли друг друга, и Пушкин, надо думать, с сочувствием воспринял мысль П. Б. Козловского о том, что табель о рангах препятствует стремительному развитию отечественной науки.

П. Б. Козловский далеко вышел за пределы своей темы; разбор содержания «Парижского математического ежегодника» послужил для него лишь удобным поводом поделиться с читателем общими рассуждениями о распространении просвещения и популяризации научных знаний на Западе и в России. Возможно было ожидать цензурных препон, и когда подобные опасения не оправдались, то Пушкин с радостью писал Вяземскому: «Ура! наша взяла. Статья Козловского прошла благополучно, сей час начинаю ее печатать. Но бедный Тургенев!... все политические комеражы его остановлены. Даже имя Фиески и всех министров вымараны...» (XVI, 92).

Пушкин имеет в виду эпистолярную корреспонденцию А. И. Тургенева «Париж. Хроника русского», которая печаталась в первом номере «Современника» вслед за статьей П. Б. Козловского. И хотя А. И. Тургенев признается, что он «совсем неохотник до наук точных», он советует следить за их развитием, ибо «иначе взгляд на мир нравственный, на мир интеллектуальный и даже политический будет не верен».⁸ Слова А. И. Тургенева звучат в унисон со статьей П. Б. Козловского. «С тех пор, как я справляюсь об успехах машин и о газе, я лучше сужу о Лудвиге XIV и о Петре Великом»,⁹ — пишет А. И. Тургенев.

⁸ «Современник», 1836, т. 1, с. 264.

⁹ Там же.

Красочные картины народных гуляний чередуются в корреспонденциях «Париж. Хроника русского» с беглым описанием театральных спектаклей, изложением религиозных проповедей, рассказом о посещениях литературных салонов, сообщениями о новых произведениях Гюго, Шатобриана и Ламартина, о чтении только что появившихся журналов и брошюр, с характеристикой французских государственных деятелей. По оплошности цензура даже пропустила пересказ (и очень сочувственный!) биографии известного революционера Буонаротти, участника заговора Бабефа. Зато подробное описание судебного процесса над Жозефом Фиески и его товарищами, организовавшими в 1835 году покушение на французского короля Луи Филиппа, не было допущено к печати. 23 марта 1836 года цензор А. Л. Крылов писал в Цензурный комитет о корреспонденции А. И. Тургенева: «Находя в оной наряду со сведениями литературного содержания и такие известия, которые помещают исключительно в повременных изданиях политических, как-то: о Фиески с другими подсудимыми, переменах министерства, спорах об уменьшении процентов и т. п., я почитаю сам не вправе допустить к напечатанию такого рода письмо вполне, без разрешения начальства; почему, отметив карандашом сомнительные места, имею честь представить оные на благоусмотрение комитета. Вместе с тем долгом почитаю обратить внимание комитета и на другую статью, для того же повременного издания, под заглавием: «Применение системы Галля и Лафатера к изображению пяти подсудимых» (т. е. Бешера, Фиески, Буаро, Пенена и Мороя). Последняя статья хотя и не принадлежит к разряду новостей политических, однако ж относится до одного из тех предметов, о которых я имею честь испрашивать разрешения».¹⁰ Дело дошло до министра народного просвещения С. С. Уварова, по личному указанию которого и были произведены цензурные изъятия.¹¹ Статья же «Применение системы Галля и Лафатера

¹⁰ Пушкин. Письма последних лет. 1834—1837. Отв. редактор Н. В. Измайлов. Л., 1969, с. 297 (комментарий В. Э. Вацуро).

¹¹ Публикацию мест, исключенных цензурой из корреспонденций А. И. Тургенева, см.: Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). М.—Л., 1964, с. 515—516; Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972, с. 233—236.

к изображению пяти подсудимых», которая была переподной и являлась дополнением к корреспонденции А. И. Тургенева, вовсе была запрещена и в «Современнике» не появилась.

«Париж. Хроника русского» А. И. Тургенева — образец «документальной» прозы, которая пользовалась особой симпатией Пушкина. Достаточно напомнить, что в первом номере «Современника» было опубликовано еще два интересных произведения этого жанра:

«Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» Пушкина;

«Долина Ажитугай. За Кубанью 3 июня 1834» Султана Казы Гирея.

Отрывок из «Путешествия в Арзрум» под заглавием «Военная грузинская дорога. (Извлечено из путевых записок А. С. Пушкина)» был опубликован еще в «Литературной газете» (1830, № 8), с вынужденными исправлениями, вызванными цензорскими замечаниями Николая I.¹² Естественно, что эти «поправки» перекочевали и в текст «Современника». Кроме того, печатая теперь полный текст «Путешествия в Арзрум», Пушкин вынужден был исключить колоритный рассказ о своей встрече в Орле (куда он нарочно заехал, проскакав лишних 300 верст) с некогда всемогущим проконсулом Кавказа, опальным генералом А. П. Ермоловым.

Но были не только потери. В пятую главу «Путешествия в Арзрум» Пушкин включил свое стихотворение «Стамбул гуры нынче славят» (1830), выдав его за перевод «начала сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу». В последние годы жизни Пушкин все чаще прибегал к литературным мистификациям, — обстоятельства вынуждали говорить обиняками и намеками.

Стихотворение построено на контрасте двух городов — сладострастного Стамбула, позабывшего истинную веру отцов, соблазненного пороками других народов, и аскетического Арзрума, свято соблюдающего благие обычаи старины.

Стамбул отрекся от Пророка,
В нем правду древнего Востока

¹² Зенгер Т. Николай I — редактор Пушкина. — ЛН, т. 16—18, с. 518—524; Рыский, с. 27—28; Левкович Я. Л. К цензурной истории «Путешествия в Арзрум». — Временник Пушкинской комиссии, 1964. Л., 1967, с. 34—37.

Лукавый Запад омрачил;
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил;
Стамбул отвык от поту битвы,
И пьет вино в часы молитвы.
В нем веры чистый луч потух;
В нем жены по базару ходят,
На перекрестки шлют старух,
А те мужчин в харемы вводят
И спит подкупленный евнух.

Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум:
Не спим мы в роскоши позорной,
Не черплем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум.
Постимся мы; струею трезвой
Одни фонтаны нас поят;
Толпой безтрепетной и резвой
Джигиты наши в бой летят;
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны,
И смиренно жены там сидят.

По справедливому предположению Д. Д. Благого, «Пушкин, приписывая свои стихи турецкому поэту, маскировал их широкое социальное содержание, злободневное и с точки зрения современной ему русской действительности».¹³ Нам остается лишь кратко пересказать убедительную аргументацию исследователя. Объясняя читателям замысел своего стихотворения, Пушкин писал о том, что «между Арзрумом и Константинополем существует соперничество, как между Казанью и Москвою» (VIII, 478). Мифическое соперничество этих двух городов прикрывало действительное соперничество Москвы и Петербурга. Пушкин писал об этом в статье «Путешествие из Москвы в Петербург», но напечатать свои публицистические размышления ему не удалось. Даже четыре строки о соперничестве двух столиц, вставленные Пушкиным во вступление к «Медному всаднику», были перечеркнуты Николаем I. Пушкину пришлось прибегнуть к обходному маневру, чтобы обмануть бдительность цензуры и Николая I. Пушкин как бы проецирует вырождение и историческое поражение янычар (15 июня 1826 года Мах

¹³ Благой Д. Социология творчества Пушкина. М., 1920, с. 191.

муд II разгромил восстание янычар в Константинополе и заменил их регулярными войсками) на судьбу «древней русской аристократии», борющейся с Петром I и его преэмишиками.

Доводы Д. Д. Благого получают теперь еще большую весомость и неотразимость. Мы могли убедиться, какими ожесточенными были споры писателей пушкинского круга вокруг проблемы «Россия и Запад». Эти споры неотделимы от оценки русского исторического процесса и роли в нем основных сословий. Естественно, что Пушкин стремился предать гласности свои мысли, касавшиеся оскудения старинных дворянских родов, судьба которых особенно волновала писателя. И как только ему удастся получить в свои руки печатный орган, он начинает печатать — то в полном, то в урезанном виде — лежавшие под сгудом произведения, отражавшие эту социально-историческую проблематику. Это и стихотворение «Стамбул гяуры нынче славят», с его завуалированным восточным сюжетом; и маленькая трагедия «Скупой рыцарь», с пророчеством грядущего разорения барона Филиппа, с явной литтезой богатого старинного дворянина и толпы «ласкателей, придворных жадных», «в атласные дырявые карманы» которых скоро «потекут сокровища» его; и «Родословная моего героя», где схожее противопоставление древнего и нового дворянства разворачивается на материале отечественной истории. Уже Д. Д. Благой отметил близость идейных импульсов, способствовавших возникновению этих трех произведений.¹⁴ Напомним, что стихи о Стамбуле и Арзруме и трагедию «Скупой рыцарь» Пушкин напечатал в первом номере «Современника», «Родословную моего героя» — в третьем. Автобиографический характер последней и ее крайняя полемичность, вызванная стремлением отразить резкие журнальные нападки на «Современник» и его издателя, делают эту поэтическую декларацию и волнующим человеческим документом, и ярким публицистическим произведением. Но анализировать это программное стихотворение Пушкина преждевременно — мы вернемся к нему при разборе третьего номера «Современника».

В первом номере «Современника» обильно представлена «документальная» проза («Путешествие в Арзрум»,

¹⁴ Там же, с. 183—188.

«Долина Ажитугай», «Париж. Хроника русского»). И в последующих номерах Пушкин охотно печатает произведения мемуарного и хроникального характера: во втором номере — записки Н. А. Дуровой (тщательно им отредактированные), статьи-репортажи самого издателя «Российская академия» и «Французская академия»; в третьем — «О партизанской войне» Дениса Давыдова, «Прогулка по Москве» М. П. Погодина, «Наполеон и Юлий Цезарь» Вяземского, «Вольтер» Пушкина и исторические анекдоты, записанные им же; в четвертом — «Занятие Дрездена. 1813 года 10 марта (Из дневника партизана Дениса Давыдова)», продолжение корреспонденций А. И. Тургенева «Париж. Хроника русского».

Пристрастие к «документу», призыв к фиксации исторических фактов (включая в них исторические анекдоты и легенды как гиперболическое отображение истинных событий, настроений, социальной психологии) свойственны в 1830-е годы и Пушкину-художнику, и Пушкину-историку. «Наша народная память незаботлива и неблагодарна. Поглощаясь суетами и сплетнями нынешнего дня, она не имеет в себе места для преданий вчерашнего», — писал Вяземский в монографии о Фонвизине. Читая эти строки в рукописи, Пушкин отчеркнул их и написал против них: «Прекрасно».¹⁵ Мысль Вяземского совпала с размышлениями Пушкина, — еще в «Путешествии в Арзрум» он писал: «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей, но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...» (VIII, 462).

Пренебрежение прошлым казалось Пушкину чертой дремучего невежества. Недаром он пытался напечатать в «Современнике» «Записку о древней и новой России» Карамзина, недаром помещал в нем воспоминания участников Отечественной войны 1812 года, печатал свои и чужие путевые записки.

«Вот явление, неожиданное в нашей литературе! — писал издатель «Современника» в послесловии к «Долине Ажитугай». — Сын полудикого Кавказа становится в ряды наших писателей; черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и живописно. Мы ни одного слова не

¹⁵ Новонайденный автограф Пушкина, с. 17.

хотели переменить в предлагаемом отрывке; любопытно видеть, как Султан Казы-Гирей (потомок крымских Гиреев), видевший вблизи роскошную образованность, остался верен привычкам и преданиям наследственным, как русский офицер помнит чувства ненависти к России, волновавшие его отроческое сердце; как, наконец, магометанин с глубокой думою смотрит на крест, *эту хоругвь Ивропы и просвещения*» (XII, 25).

Можно себе представить, как обрадовался Пушкин, получив рукопись путевых впечатлений Султана Казы Гирея. Ведь о черкесах Пушкин сам писал в «Путешествии в Арзрум» — и об их воинственных набегах, и о том, что христианство будет способствовать сближению с ними. Теперь рядом со своими размышлениями о черкесах Пушкин мог поместить строки «сына полудикого Кавказа» — они свидетельствовали о том, что автор «Путешествия в Арзрум» не уклонился от истины, не так-то легко будет черкесам забыть разорение их аулов; но вера в то, что такие времена наступят, воодушевляла и Пушкина, и Султана Казы Гирея, закубанского черкеса, служившего с 1830 года в Петербурге юнкером Кавказско-горского полускадрона. За несколько лет жизни в столице он в совершенстве овладел русским языком и мог даже писать на нем свои путевые записки, доставленные в «Современник» А. Н. Муравьевым.¹⁶

В первом номере «Современника» также напечатана критическая статья Пушкина, написанная по поводу выхода в свет «Собрания сочинений Георгия Кониского, архиепископа Белорусского, изд. протоиереем Иоанном Григоровичем»; статья помещена анонимно. Статья состоит из четырех частей: биография Георгия Кониского, написанная Пушкиным по материалам его жизнеописания, собранным И. Григоровичем; перепечатка избранных мыслей Георгия Кониского; характеристика рукописи «История Русов или Малой России», которая в те годы ошибочно приписывалась Георгию Конискому (ее истин-

¹⁶ Подробнее об этом см.: Турчанинов Г. Ф. Султан Казы Гирей — корреспондент пушкинского «Современника». — Временник Пушкинской комиссии. 1967—1968. Л., 1970, с. 33—46. — Во втором номере «Современника» напечатан «Персидский анекдот» Султана Казы Гирея. Этими двумя произведениями, по-видимому, и ограничилась его литературная деятельность.

ный автор — украинофил Г. А. Полетика); две обширные выдержки из этой истории: «Введение унии» и «Казнь Острианицы».

Жизнь Георгия Кониского, ревностного защитника интересов православия в белорусских землях, входивших в XVIII веке в состав польского государства, давала счастливую возможность воскресить в памяти читателей историю отношений России и Польши, — эта тема, как мы знаем, особенно волновала Пушкина в 1830-е годы. Самым же существенным для Пушкина было то, что в статью о Георгии Кониском он смог включить несколько листов рукописной «Истории Русов». Как вспоминал позднее О. М. Бодянский, «издания печатью „Истории Русов“ напрасно добивались Устрялов, Пушкин, Гоголь».¹⁷ По утверждению Ю. Г. Оксмана, вкрапление отрывков из «Истории Русов» в статью Пушкина являлось, по сути дела, литературной контрабандой, умелым обходом цензурного запрета. Именно с этим историческим памятником связан неосуществленный замысел Пушкина написать историю Украины, который по свидетельству М. П. Погодина, относится к весне 1829 года.¹⁸ Выход в свет труда Д. Н. Бантыш-Каменского «История Малой России» новым изданием весной 1830 года, по-видимому, охладил Пушкина. Однако внешнеполитические события начала 1830-х годов снова привлекли его внимание к этой теме. «Оживление интереса Пушкина к проблемам истории Украины датируется 1831 годом, годом продолжавшегося польского восстания. Возвращение великого поэта к работе над „Историей Русов“ в это время следует поставить в прямую и непосредственную связь с его тирадами, тоже 1831 года, об исторических судьбах Украины — в „Бородинской годовщине“ и в ответе „Клеветникам России“. <...> Обращение к „кровавым скрижалям“ многовековой борьбы украинского казачества и крестьянства с шляхетской Польшей должно было, по замыслу Пушкина, исторически документировать беспочвенность тех притязаний на „наследие Богдана“, которые с таким „шумом“ были заявлены польскими магнатами в Варшаве и

¹⁷ Чтения в Московском обществе истории и древностей российских, кн. 1. М., 1874, с. 221—222.

¹⁸ РА, 1882, № 5, с. 80—81. Письмо к С. П. Шевыреву от 29 апреля 1829 г.

еще большею политической безответственностью под-
держаны в Париже...»¹⁹

Пушкин предполагал вернуться к истории русско-польских отношений в третьем номере «Современника». Но позднее начала августа 1836 года Пушкин получил от Ф. Ф. Вигеля письмо, к которому была приложена статья «Быстрый взгляд на историю славян»; в ней автор вслед за историческим очерком взаимоотношений России и Польши обращался к современному положению польского вопроса; именно заключительная часть статьи, в которой Ф. Ф. Вигель переложил в прозу основную мысль стихотворения Пушкина «Клеветникам России», не была допущена цензурой к печати; власти, по-видимому, полагали, что острая, публицистическая статья Ф. Ф. Вигеля может вызвать враждебные выпады в западноевропейской прессе. В урезанном цензурой виде статья не удовлетворила Пушкина, и он не стал помещать ее в «Современнике».²⁰ Таким образом, тема польско-русских отношений, начатая статьей о Георгии Кониском, не получила своего продолжения на страницах пушкинского печатного органа.

Документальные, хроникальные, публицистические и критические статьи преобладают как в первом, так и в последующих номерах пушкинского «Современника». Пушкин обладал обостренным чувством времени; одним из первых своих современников он понял, что поэзия утрачивала свое первенствующее положение. Все большее значение приобретала проза — и не только художественная. «... русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии, — писал Пушкин Вяземскому 13 июля 1825 года. — Дай бог ему когда-нибудь образоваться, наподобие французского (ясного, точного языка прозы — т. е. языка мыслей)» (XIII, 187). Пожелание Пушкина начинало сбываться, — все больше отшлифовывался язык прозы; и не последнюю роль в образовании «русского метафизического языка» сыграло творчество Пушкина и его литературных соратников.

¹⁹ ЛН, т. 58, с. 215—216.

²⁰ Подробнее об этом см.: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Л., 1968, с. 252—253, где обоснована передатировка письма Ф. Ф. Вигеля.

Трудно сказать с достоверностью, почему в иные эпохи происходят разительные перемены в читательском вкусе. Вероятно, в конечном счете эти «метаморфозы» вызваныются подспудными социальными факторами. Так или иначе, но совершенно очевидно, что в 1830-е годы происходит стремительное расширение границ прозаических жанров и возрастание удельного веса прозы в отечественной словесности. Этот общий процесс отразился и на содержании пушкинского «Современника», в котором правда, появились превосходные стихотворения Пушкина, Тютчева, Кольцова и некоторых других поэтов, но тем не менее не они определяли «лицо» нового печатного органа.

В первом номере «Современника», помимо «Ночного смотра» Жуковского и мадригального стихотворения Вяземского «Роза и кипарис», посвященного графине М. А. Потоцкой, напечатаны три поэтических произведения Пушкина — «Пир Петра Первого», «Из Шенье» и «Скупой рыцарь».

«Скупой рыцарь» Пушкина и статья Е. Розена «О рифме», напечатанная вслед за этой маленькой трагедией, составляют своеобразный журнальный «дуэт». Пушкин, вероятно, с умыслом поместил их рядом. Белый стих трагедии, в которой наперечет рифмованные строки, соседствует с пылкой инвективой Е. Розена, восставшего против засилья рифмы в поэзии, заклеившего рифму побрякушкой, коей человечеству свойственно и приличествует забавляться лишь в незрелом возрасте. И то не всем народам. «Если бы во времена Софокла и Горация появилась трагедия или ода с рифмами, что сказали бы Греки и Римляне, эти превосходные ценители изящного в мире чувственности, к которой относится и рифма? Подумали ли бы они, что рифма в течении веков делается поясом Венеры, необходимым для важной, величественной Юноны, чтоб пленять? Нет сомнения, что тонкий слух этих народов, столь хорошо понимавший все таинственные прелести *ритма*, содрогнулся бы от рифмы, как от непростительного варваризма!»²¹ — такой стремительной атакой начинает свое нападение на рифму Е. Розен. И словно оправдывая рифмованные строки в белом стихе трагедии «Скупой рыцарь», автор замечает, что к рифмам

²¹ «Современник», 1836, т. 1, с. 131.

иногда прибегал и Овидий — не красоты ради, а «ради удачного выражения» «он только *терпел* этим грехам».²²

Е. Розен прослеживает родословную рифмы — арабы, испанцы, итальянцы, французы, немцы, англичане покорили себя ее ярму. Но и у этих народов встречаются поэты, восстающие против ее владычества. Автор вспоминает итальянского поэта Джанджорджо Триссино (1478—1550), современника Ариосто, дерзнувшего написать белым стихом трагедию «Софонизба» (1515) и эпопеею «Италия, освобожденная от готов» (изд. 1547—1548); с одобрением упоминает он имена Аннибала Каро (1507—1566), Антона-Мариа Сальвини (1653—1729) и Александра Маркетти (1633—1714), обратившихся к белому стиху при переводе на итальянский язык Вергилия, Гомера и Лукреция. Знаток немецкой поэзии, Е. Розен особенно ценит почин автора «Мессиады». «Величайший из всех лирических поэтов, *Клопшток*, ее т. е. рифму. — *М. Г.*» отвергнул; могла ли бы она существовать при этой сжатости, при этом богатстве, при этой возвышенности мыслей? Свидетельство его од *против* рифмы сильнее и убедительнее, нежели звучный хор свидетельств целого Юга в ее пользу!»²³

«Обратимся к древней Руси, — пишет Е. Розен. — Здесь, в отношении к рифме, представляется нечто замечательное. Русские до того любят созвучие, что разрешили своему языку все плеоназмы; русские так охотно замыкают свои пословицы и поговорки рифмою, но, между тем, не покорились ей в своей народной поэзии! Чем объяснить это мнимое противоречие? <...> Оттого, что считали ее *шуткою*, а шутить не думали своею песнею, т. е. священною истиною душевных излияний. Как балалайка и бубен ладят только с веселием русским, так и рифма согласуется только с красным словом русского балагура!»²⁴

Вряд ли Пушкин разделял уничижительное мнение Е. Розена о рифме; но страстная защита безрифменного стиха, к ритмической гармонии которого столь охотно склонялся Пушкин в зрелые годы своего творчества, безусловно должна была вызвать благожелательное внимание издателя «Современника».

²² Там же, с. 132.

²³ Там же, с. 148.

²⁴ Там же, с. 137—139.

Белый стих уже отменно зарекомендовал себя в русской поэзии опытами Державина, Гнедича, Жуковского, Дельвига и Пушкина, напоминает читателям автор. «Замечательно, что тот поэт, который по свойству своего гения довольно далек от духа народного, *Жуковский* (знаем, что он певец Светланы) теперь более всех совпадает с чувством русского народа относительно рифмы: он от нее решительно отложился!»²⁵

В двенадцать часов по ночам
Выходит трубач из могилы;
И скачет он взад и вперед,
И громко трубит он тревогу.
И в темных могилах труба
Могучую конницу будит:
Седые гусары встают,
Встают усачи кирасиры:
И с севера, с юга летят,
С востока и с запада мчатся
На легких воздушных конях
Один за другим эскадроны.

Чеканным белым стихом перевел Жуковский балладу австрийского поэта Иосифа-Христиана фон Цедлица. Перевод этот был сделан в начале 1836 года, прочитан в дружеском кругу и всячески одобрен Пушкиным. «А ты мою пиесу унес и уже в цензуру хватил, — писал Жуковский Пушкину в марте 1836 года. — Нет, голубчик, в первую книжку ее никак не помещай. Она годится может быть после, но для дебюту нельзя. Прошу тебя не помещать в 1 номер» (XVI, 91). Но Пушкин настоял на своем и напечатал «Ночной смотр» в первом номере «Современника». Перевод был хорош и сам по себе, и к тому же он служил отличной иллюстрацией к словам Е. Розена о Жуковском.

Автор статьи «О рифме», как и другие писатели пушкинского круга, знал, что последние годы Жуковский переводил гекзаметром и отрывки из «Илиады», напечатанные в «Северных цветах» на 1829 год, и «Войну мышей и лягушек», отданную им в «Европеец» (1832, № 2), и повесть немецкого писателя Фридриха де ла Мотт Фуке «Ундина», над переложением которой Жуковский трудился в 1832—1836 годах. Впрочем, к белому стиху Жуковский прибегал и ранее («Красный карбункул», 1816;

²⁵ «Современник», 1836, т. 1, с. 151.

«Тленность», 1816; перевод драмы Шиллера «Орлеанская дева», 1817—1821; «Две были и еще одна», 1831). В свое время пристрастие Жуковского к белому стиху вызвала извительную эпиграмму Пушкина (1818):

Послушай, дедушка, мне каждый раз,
Когда взгляну на этот замок Ретлер,
Приходит в мысль: что, если это проза,
Да и дурная?..

Первые две с половиной строки эпиграммы повторяли начало стихотворения Жуковского «Тленность». Но с тех пор прошло почти два десятилетия, и Пушкин стал значительно благосклоннее относиться к белому стиху. Можно предполагать, что рифма и белый стих не раз были предметом горячих дебатов в пушкинском кругу писателей, и, таким образом, статья Е. Розена «О рифме» является творческим откликом на эти дружеские беседы. 19 февраля (3 марта) 1849 года Жуковский, рассказывая в письме к Вяземскому о своем переводе «Одиссеи», писал: «... большое наслаждение биться на кулачки с таким молодцом, как Гомер (лишь бы только не выйти из боя с разбитым рылом); но кажется этого не будет; сколько можно самого себя судить, мой перевод довольно близко выражает Гомеровскую старину и простоту, и вторая половина, кажется мне, святее первой: я врезался в свойство Гомеровых стихов (и этим обязан я Пушкину, то есть его критике на некоторые стихи мои в первых опытах подражания Гомеру)». ²⁶ Перед нами документальное свидетельство того, что перевод отрывков из «Илиады», сделанный Жуковским в конце 1820-х годов, подвергался критическому рассмотрению со стороны Пушкина, — и это лишний раз подтверждает наше предположение о том, что статья Е. Розена «О рифме» является отголоском бесед Пушкина и его литературных соратников, их споров о будущем русского стиха.

«Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху, — писал Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург». — Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую. *Пламень* неминуемо тащит за собой *камень*. Из-за *чувства* выглядывает непременно *искусство*. Кому не надоели *любовь и кровь, трудной и чудной, верной и лицемерной* и проч. Много говорили о настоя-

²⁶ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1909, л. 111.

щем русском стихе. А. Х. Востоков определил его с большою ученостию и сметливостию. Вероятно, будущий паш эпический поэт изберет его и сделает народным» (XI, 263).

Покров, упитанный язвительною кровью,
Кентавра мстящий дар, ревнивою любовью
Алкиду передан.

Именно с этой традиционной рифмы, над которой Пушкин не без основания подшучивал, начинается его перевод стихотворения Андре Шенье, напечатанный в первом номере «Современника». Обойтись без этих назойливых рифм было просто невозможно, и естественно, что Пушкина волновала ограниченность репертуара русской рифмы. Он, как и большинство поэтов первой половины XIX века, был приверженцем точной рифмы, ограниченные возможности которой были ему отчетливо видны; отсюда и повышенное внимание к белому стиху. «В начале лицейского периода Пушкин находился под некоторым влиянием державинской традиции, и у него можно найти неточные рифмы. Затем он переходит на новую систему точных рифм...»²⁷ Неточная рифма противоречила самой сокровенной сущности его поэтического дарования, стремившегося к ясности и точности форм.

Деятельное участие в первом номере «Современника» принял Гоголь; на его страницах он выступил и прозаиком, и драматургом, и критиком, и рецензентом (повесть «Коляска», «Утро делового человека. Петербургские сцены», критическая статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», рецензии на многие книги). Вспоминая в 1846 году эту страницу своей биографии, Гоголь писал П. А. Плетневу: «„Современник“ даже и при Пушкине не был тем, чем должен быть журнал, несмотря на то что Пушкин задал себе цель более положительную и близкую к исполнению. Он хотел сделать четвертное обозренье в роде английских, в котором могли бы помещаться статьи более обдуманые и полные, чем какие могут быть в еженедельниках и ежемесячниках, где сотрудники, обязанные торопиться, не имеют даже времени пересмотреть то, что написали сами. Впрочем сильного желанья издавать этот журнал в нем не

²⁷ Томашевский Б. В. Стилистика и стихосложение. Л., 1959, с. 416.

было, и он сам не ожидал от него большой пользы. Получивши разрешение на издание его, он уже хотел было отказаться. Грех лежит на моей душе: я умолил его. Я обещался быть верным сотрудником. В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал. Он действительно в то время слишком высоко созрел для того, чтобы заключать в себе это юношеское чувство; моя же душа была тогда еще молода; я мог принимать живее к сердцу то, для чего он уже простыл. Моя настойчивая речь и обещанье действовать его убедили; но слова моего я бы не мог исполнить даже и тогда, если бы он был жив. Не знал я, какими путями поведет меня провиденье, как отнимутся у меня силы ко всякой живой производительности литературной и как умру я надолго для всего того, что шевелит современного человека».²⁸

Целое десятилетие отделяет мемуарное свидетельство Гоголя от реальных событий. Десять лет срок большой. Особенно значительным он оказался для Гоголя, успешного за эти годы пройти трудный путь от «Ревизора», «Шинели» и «Мертвых душ» до «Выбранных мест из переписки с друзьями». Это был путь, приведший его к душевному кризису и творческой депрессии. Тяжелое настроение, овладевшее им, окрасило в соответствующие тона и его воспоминание о пушкинском «Современнике». Гоголь всячески подчеркивает юношеский энтузиазм, с которым он воспринял известие о новом печатном органе, и усталость Пушкина, его отрешенность от «низменной» действительности; в его интерпретации Пушкин выглядит Гоголем середины 1840-х годов. Эта невольная «абerrация» вынуждает нас с особой осторожностью отнестись к словам Гоголя. Не для того Пушкин хлопотал об издании «Современника», чтобы отказываться от этого начинания, — ведь несколько лет подряд он мечтал получить в свои руки печатный орган. Но вряд ли Гоголь полностью запомнил свои разговоры с Пушкиным; скорее всего он лишь несколько сместил акценты. Приглашая Гоголя участвовать в «Современнике», Пушкин мог сказать, что его материалы и помощь нужны ему дозарезу, что без его поддержки он не может приступить к изданию. Пушкин умел уговаривать и во время разго-

²⁸ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч., т. VIII. М., 1952, с. 422.

вора мог воодушевиться и в гиперболических выражениях обрисовать ситуацию. Теперь, десять лет спустя, Гоголь вполне всерьез вспоминает слова Пушкина, хотя в момент разговора он скорее всего чувствовал преувеличенный характер его высказываний. И хотя при подобном смещении акцентов Гоголь невольно преувеличивает свою роль, остается непреложным то обстоятельство, что, приступая к изданию «Современника», Пушкину нужен был молодой и энергичный помощник, каким и стал для него Гоголь.

Участие Гоголя в «Современнике», его взаимоотношения с Пушкиным в первой половине 1836 года вызвали целый поток исследовательской литературы.²⁹ Высказывались самые различные точки зрения: одни ученые подчеркивали близость литературно-общественной позиции обоих писателей, другие прежде всего обращали внимание на имевшие место расхождения. Обнаружение экземпляра «Современника», в оглавлении которого статья «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» значилась как статья Гоголя, привело к различным гипотетическим построениям относительно причин, побудивших в последнюю минуту снять имя автора и печатать ее анонимно.

На наш взгляд, журнальные расхождения между Пушкиным и Гоголем имели *тактический* характер. В статье Гоголя содержались резкие выпады против «Библиотеки для чтения» и других петербургских изданий. К началу апреля 1836 года стало очевидно, что «Современник» будет встречен сильной оппозицией других журналов; лихие печатные наскоки на него начались еще до выхода в свет первого номера. Пушкин убедился в том, что обстоятельства требуют более гибкой журнальной политики. В эти дни он писал В. Ф. Одоевскому: «Думаю 2 № начать статью вашей, дельной, умной и сильной — и которую хочется мне наименовать *О вражде к просвещению...*» (XVI, 100). В. Ф. Одоевский тоже

²⁹ Обзор литературы о пушкинском «Современнике», включая и вопрос об участии в нем Гоголя, см. в коллективной монографии «Пушкин. Итоги и проблемы изучения» (М.—Л., 1966, с. 228—235); автор обзора — В. Э. Вацуро. Позднее появилось обстоятельное исследование Н. Н. Петруниной и Г. М. Фридлиндера «Пушкин и Гоголь в 1831—1836 годах» (Пушкин. Исследования и материалы, т. VI. Л., 1969, с. 197—228).

метил в Ф. Булгарина и О. Сенковского, развенчивал эпигонский, подражательный «стиль» их сочинений. Но при этом ни одного имени автор не произносил, ни на одну личность прямо не указывал.

В. Ф. Одоевский учел пожелание Пушкина; статью свою он назвал «О вражде к просвещению, замечаемой в нынешней литературе»; под статьей поставлен один из многочисленных псевдонимов писателя — С. Ф. Но она напечатана не в начале второго номера, а в середине; по-видимому, такая перестановка была произведена по инициативе В. Ф. Одоевского, который во время длительного отсутствия Пушкина в столице принимал ближайшее участие в подготовке этого тома к печати.

В. Ф. Одоевский энергично осуждает вражду к просвещению, возникшую в Западной Европе как парадоксальный результат быстрого и многостороннего движения просветительских идей во все классы общества: «... в это же время демократический дух повеял на Европу; к нему присоединился дух партий — и из всего этого составилась новый действительно чудовищный род литературы, основанный на презрении к просвещению, исполненный ребяческих жалоб на несовершенство ума человеческого, ребяческих воспоминаний о счастливом невежестве предков, возгласов против философии, против машин и наконец исполненный преступных похвал черни и мужеству ремесленников, разрушающих прядильные машины. Этот род литературы явился в Европе во всех возможных видах: и повестей, и водевилей, и догматических прений; одни хватались за него как за средство сказать нечто противное общему здравому смыслу и, следовательно, все-таки нечто новое, другие по причинам вовсе не литературным».³⁰

По мнению В. Ф. Одоевского, вражда к просвещению в Западной Европе понятна, хотя и прискорбна: сильное действие породило сильное противодействие. Еще печальнее эта вражда в России, где просвещение сделало лишь первые шаги. От романистов-сатириков иностранных авторов переходит к обличению русских сатириков. Выпады В. Ф. Одоевского направлены прежде всего против нравственно-сатирических произведений Ф. Булгарина. Эти доморощенные сатирики, возглавляемые Ф. Бул-

³⁰ «Современник», 1836, т. 2, с. 209.

гариным, поставщики мелкотравчатой сатиры, гонители истинного просвещения: «...вместо того чтобы посмотреть, вокруг себя, углубиться в отечественные нравы, в них отыскать им свойственные оригинальные черты, способные быть перенесенными в мир литературный, они, поставленные счастливо судьбою среди народа свежего, юного, в эпоху самую драматическую, какая только может быть в истории страны, эпоху слияния народности с общею образованностью, — наши сатирики не заметили ничего этого, а по старой памяти пустились в подражание иностранцам: они напали... как вы думаете на что? На просвещение! Как будто это юное растение, посаженное мудрой десницей Петра и доныне с такими усилиями поддерживаемое Правительством и — извините — одним Правительством, как будто оно достигло уже полного развития, утучнело, уже производит те ненужные отпрыски, которые замечаются в старой Европе!... Нет, может быть, никогда дух подражания, владычествующий над нашей литературою, не был столь пагубен! Не против злоупотребления науки вооружились наши сатирики, но против самой науки; забыты примеры Фонвизина, Капниста, Грибоедова, их глубокое знание современных нравов, их верный взгляд на наши недостатки, их благородное стремление... Отличительным характером наших сатириков сделалось — попадать редко и метить всегда мимо».³¹

В. Ф. Одоевскому удалось избежать частных нападок, столь распространенных в журнальной полемике. Он не имел нужды называть поименно писателей, которые подвергались осуждению, потому что его возражения имели общий характер, преследовали не отдельные погрешности и недостатки, а целое направление нравственно-сатирической литературы, несовместное с истинной сатирой. Подобная широкая постановка вопроса безусловно привлекла Пушкина. Издателю «Современника» также должны были импонировать рассуждения В. Ф. Одоевского о том, что нравственно-сатирическая литература по своей антипросветительской сущности противопоставлена усилиям правительства. Достаточно вспомнить известный разговор Пушкина с великим князем Михаилом Павловичем, во время которого Пушкин утверждал, что «все

³¹ «Современник», 1836, т. 2, с. 209—210.

Романовы революционеры и уравниатели». Мысль о прогрессивной роли правительства, наряду с резкой критикой различных мероприятий, законов и даже беззакония, была близка Пушкину. Статья В. Ф. Одоевского казалась Пушкину тем ценнее, что она недвусмысленно указывала правительству на то, что нравственно-сатирическая литература, по сути дела, не способствует улучшению нравов и действует вразрез просвещению страны.

Защита истинной сатиры в статье В. Ф. Одоевского перекликается с аналогичными рассуждениями в статье П. А. Вяземского о «Ревизоре», напечатанной в том же номере «Современника». П. А. Вяземский утверждал, что большая часть русских комедий — «это снимки с картин чужой или вымышленной природы. В подобных снимках может идти дело о искусстве художника в исполнении, но нет речи о жизни, о верности, о природном сочувствии. Тем более комедия, выходящая из круга сих заимствований, вымыслов, или подделок, должна произвести общее, сильное и разнородное впечатление. Мало у нас подобных комедий: „Бригадир“, „Недоросль“, „Ябеда“, „Горе от ума“ — вот, кажется, верхушка сего тесного отделения литературы нашей. „Ревизор“ занял место вслед за ними».³²

Вяземский горячо защищал Гоголя и его комедию от различных обвинений — литературного порядка, нравственного характера и политического вольнодумства. Подобные обвинения раздавались со всех сторон. Очевидец первого представления «Ревизора» П. В. Анненков вспоминал: «...общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: „Это — невозможность, клевета и фарс“. По окончании спектакля Гоголь явился к Н. Я. Прокоповичу в раздраженном состоянии духа. Хозяин вздумал поднести ему экземпляр „Ревизора“, только что вышедший из печати, со словами: „Полюбуйтесь на сынку“. Гоголь швырнул экземпляр на пол, подошел к столу и, опираясь на него, проговорил задумчиво: „Господи боже! Ну, если бы один, два ругали, ну и бог с ними, а то все, все...“»³³

Печатным отголоском, журнальным эхом «общественного» мнения явились статьи Ф. Булгарина и О. Сенков-

³² Там же, с. 287.

³³ Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 82.

ского. Ф. Булгарин упрекал Гоголя в том, что он основал свою пьесу «на невероятности и несбыточности», утверждал, что «на злоупотреблениях нельзя основать настоящей комедии».³⁴ Иное полагал Вяземский. Опровергнув суждения Ф. Булгарина, Вяземский писал: «Но как потребовать, чтобы каждый художник посвятил себя на должность школьного учителя или дядьки? На что вам честные люди в комедии, если они не входили в план комического писателя?»³⁵

Статья Вяземского о «Ревизоре» и статья В. Ф. Одоевского «О вражде к просвещению...» явились достойным ответом писателей пушкинского круга на выступления враждебных печатных органов. Казалось бы, что защита «Ревизора» от облыжных обвинений «Северной пчелы» и «Библиотеки для чтения» должна была вызвать сочувственный отклик Белинского. Но этого не случилось. Белинский воспринял статью Вяземского о «Ревизоре» в политическом ключе; такая оценка была вызвана предшествующими событиями. В рецензии на первый том «Современника» Белинский задел Вяземского: «избал нас, боже, от его критик, как и от его стихов».³⁶ В примечании к статье о «Ревизоре» Вяземский на резкость Белинского ответил резкостью. Белинский не остался в долгу, дав отрицательный отзыв на вторую книжку «Современника»: «...она показала явно, что „Современник“ есть журнал „светский“, что это петербургский „Наблюдатель“. <...> разборы „Ревизора“ г. Гоголя и „Наполеона“, поэмы Эдгара Кина, подписанные литератором В., должны совершенно уронить „Современник“».³⁷

Взаимные журнальные нападки Белинского и Вяземского — результат различия их социальной позиции. Передовые дворянские писатели могли в том или другом вопросе, в их вражде к реакционной журналистике сходиться во мнениях с разночинцем Белинским, но это все не свидетельствовало об идентичности их литературных взглядов и вкусов. Правда, Пушкин хотел видеть Белинского сотрудником «Современника». Но, к

³⁴ «Северная пчела», 1836, № 97 (30.IV).

³⁵ «Современник», 1836, т. 2, с. 298.

³⁶ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. II. М., с. 183.

³⁷ Там же, с. 234—237. — В 1856 г. Чернышевский реабилитировал статью Вяземского о «Ревизоре» (Чернышевский Н. I Полн. собр. соч., т. 3. М., 1947, с. 127).

почно же, Пушкин не собирався отказаться от своих общественных воззрений; напротив, как будет видно при разборе третьего номера «Современника», он надеялся подействовать на образ мыслей молодого критика.

К литературно-публицистическим материалам второго номера «Современника» относятся напечатанные анонимно две статьи Пушкина: «Российская академия» и «Французская академия».

28 января 1836 год в Париже состоялось заседание Французской академии, посвященное торжественному принятию в нее известного драматурга Огюстена Эжена Скриба (1791—1861). Речи Скриба и Вильмена на этом заседании «сорока бессмертных» были изданы отдельной брошюрой, которую неутомимый А. И. Тургенев переслал Пушкину. Брошюра заинтересовала Пушкина, и он решил в некотором сокращении опубликовать перевод ее на страницах «Современника».

Речь Скриба по заведенному обычаю была панегириком его предшественнику — драматургу и поэту Антуану Венсану Арно (1766—1834), автору многих трагедий, басен и лирических стихотворений; одному из них особенно повезло в русской поэзии — стихотворение «Листок» переводили Жуковский, В. Л. Пушкин, Денис Давыдов и другие поэты. «Участь этого маленького стихотворения замечательна, — писал Пушкин. — Костюшко перед своею смертью повторил его на берегу Женевского озера; Александр Ипсиланти перевел его на греческий язык...» (XII, 46).

Слава порой приходит к писателю самым неожиданным путем. Петрарка полагал, что обессмертит свое имя эпической поэмой «Африка», написанной по-латыни; потомки же помнят его как автора сонетов и канцон, жемчужин итальянской поэзии. Арно возлагал свои упования на Мельпомену; надежды его оказались тщетными. «Арно сочинил несколько трагедий, которые в свое время имели большой успех, а ныне совсем забыты, — свидетельствовал Пушкин. — Такова участь поэтов, которые пишут для публики, угождая ее мнениям, применяясь к ее вкусу, а не для себя, не вследствие вдохновения независимого, но из бескорыстной любви к своему искусству! Две или три басни, остроумные или грациозные, дают покойнику Арно более права на титул поэта, нежели все его драматические творения» (XII, 46).

Пушкин был твердо убежден в том, что только независимость писателя от властей и общественного мнения является порукой истинного вдохновения. Рассуждения Скриба о французской комедии позволили Пушкину делиться с читателем своими самыми сокровенными мыслями о тягостном положении писателя в современном обществе. «...я уверен, что ни Лудовик XIV, ни Лудовик XV, ни Наполеон не потерпели бы на театре великих поучений истории и не позволили бы вывести на сцену то, что бы до них близко касалось, — говорил Скриб. — Нынешний комический автор в сем отношении не имеет больше преимущества перед своими предшественниками. У нас раздражительность партий заступила место раздражительности правительства; в наш век свободы мы не вольны изображать на сцене все смешное: всякая партия защищает своих и позволяет занимать смешное лишь у соседа; самое книгопечатание, эта неограниченная власть свободных правлений, книгопечатание хочет говорить правду всему свету, но не любит, чтоб говорили ему истину» (XII, 53).

Вскоре, 5 июля 1836 года, Пушкин напишет стихотворение «Из Пиндемонти», в котором также выскажет свою неприязнь как самодержавной, так и парламентской форме правления:

Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.

Никому

Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданными искусства и вдохновенья
Трепеща радостно в восторггах умиленья.
Вот счастье! вот права...

Скриб отстаивал мысль о самодовлеющем характере литературных явлений. Французский драматург говорил: «Во время самых жестоких периодов революции, когда трагедия, как говорили, рыскала по улицам, что представлял театр? Сцены человеколюбивые и чувствительные, как например: „Женщины“, „Сыновняя Любовь“, а в январе 93 года, во время суда над Лудовиком XVI, давали „Прекрасную Мызницу“, комедию пастушескую и чувствительную. Во время империи, в царство славы и побед,

«комедия не была победительницей и воинственной! При восстановлении Бурбонов, правлении мирном, лавры, военные мундиры завладели сценою; Талия надела эпюлы!» (XII, 53).

И хотя Вильмен убедительно возражал Скрибу, утверждая, что век Людовика XIV отразился в комедиях Мольера, что жеманная драма Мариво, Дора и Лану запечатлела утонченный разврат нравов XVIII века, что «Свадьба Фигаро» — «бесценное сведение для истории», тем не менее Пушкину более импонировала точка зрения Скриба. Отсутствие жесткой синхронной зависимости между явлениями литературными и общественными представлялось ему панацеей от необходимости вечно угождать читательскому вкусу и литературным пристрастиям властей (Пушкин, конечно, помнил, как Николай I советовал ему «перелицевать» «Бориса Годунова»). С другой стороны, тезис о связи литературы с политическими событиями давал возможность обскурантам науськивать власти на современных писателей. По всем этим обстоятельствам Пушкин в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной», помещенной в третьем номере «Современника», вступил в полемику с Гоголем, который в обзоре «О движении журнальной литературы» полагал, что нынешняя опрометчивая, бессвязная французская словесность была следствием политических волнений. «В словесности французской совершилась своя революция, чуждая политическому перевороту, ниспровергшему старинную монархию Людовика XIV, — писал Пушкин. — В самое мрачное время революции литература производила приторные, сентиментальные, правоучительные книжки. Литературные чудовища начали появляться уже в последние времена кроткого и благочестивого Восстановления...» (XII, 70). Пушкин почти дословно повторяет мысль Скриба; так историко-литературные дебаты во Французской академии отражались в журнальных полемических выступлениях издателя «Современника».

Рядом со статьей «Французская академия» помещена статья Пушкина «Российская Академия»; ею открывается второй номер «Современника». Пушкин счел необходимым пересказать и дополнить материалы, напечатанные в брошюре «Заседание, бывшее в Российской Академии 18 января 1836 года».

Пушкин недаром полагал, что заседание это «будет памятно в летописях Российской Академии». Непременный секретарь академии Д. И. Языков привел в своей речи извлечения из знаменитой полемики Фонвизина с Екатериной II — «Несколько вопросов, могущих возбудить в умных и честных людях особое внимание». Во времена Пушкина вопросы Фонвизина и ответы Екатерины II вызвали бы нарекания цензуры, если бы какой-либо журнал захотел их воскресить для современников и потомства. Однако для академической брошюры общие цензурные правила не действовали. Пушкин воспользовался этим обстоятельством и полностью перепечатал те страницы брошюры, на которых была помещена запрещенная полемика. Он справедливо рассудил, что цензуре будет неудобно марать красным карандашом то, что только что было дозволено к печати. Расчет Пушкина полностью оправдался; ему удалось ознакомить читателей «Современника» с этой позабытой страницей русской сатирической литературы XVIII века.

Большое внимание уделяет Пушкин в своем отчете Академическому словарю, привлекая дополнительные сведения, которые отсутствуют в официальной брошюре; тут и пересказ шуток Екатерины II по поводу словаря, и цитата из предисловия Вильмена к Словарю Французской академии 1835 года, и отрывок из речи Карамзина, произнесенной в Российской Академии 5 декабря 1818 года. «Полный Словарь, изданный Академиею, — говорит он, — принадлежит к числу тех феноменов, коими Россия удивляет внимательных иноземцев; наша, без сомнения, счастливая судьба во всех отношениях есть какая-то необыкновенная скорость: мы зреем не веками, а десятилетиями» (XII, 42). В оправдание слов Карамзина Пушкин приводит две красноречивые цифры: французский академический словарь составлялся 60 лет, русский — 6 лет.

Во второй раз имя Карамзина всплывает в конце статьи «Российская академия». «Невозможно было без особенного чувства слышать искренние, простые похвалы, воздаваемые почтенным старцем великому писателю, бывшему некогда предметом жесткой его критики если не всегда справедливой, то всегда добросовестной...» (XII, 45), — писал Пушкин о впечатлении, произведенном на него краткой статьей А. С. Шишкова «Нечто о Карам-

лине», прочитанной на заседании 18 января 1836 года П. А. Ширинским-Шихматовым. Выступление А. С. Шишкова позволило Пушкину сообщить читателям о «потаенном» Карамзине, о его забытом произведении, которое издатель «Современника» хотел сделать общим достоянием. «Пребывание Карамзина в Твери ознаменовано еще одним обстоятельством, важным для друзей его славной памяти, неизвестным еще для современников. По вызову государыни великой книгини, женщины с умом необыкновенно возвышенным, Карамзин написал свои мысли о древней и новой России, со всею искренностью прекрасной души, со всею смелостью убеждения сильного и глубокого. Государь прочел эти красноречивые страницы... прочел и остался по-прежнему милостив и благосклонен к прямодушному своему подданному. Когда-нибудь потомство оценит и величие государя и благородство патриота...» (XII, 45).

Несколько месяцев спустя, 15 августа 1836 года, А. Л. Крылов сообщил издателю «Современника», что представленная им записка Карамзина «О древней и новой России» будет отправлена в Главное управление цензуры. Но прошел еще месяц, и лишь 20 сентября председатель Санктпетербургского цензурного комитета М. А. Дондуков-Корсаков направил запрос в Главное управление цензуры, испрашивая разрешение напечатать отрывки из неопубликованного сочинения Карамзина. Сразу же последовал ответ, что записку Карамзина в отличие от «Истории государства Российского», которая была освобождена от цензуры, следует рассматривать на общих цензурных правилах. 11 октября цензор А. Л. Крылов отметил карандашом сомнительные места (их оказалось примерно две пятых всего текста) и представил вновь рукопись в цензурный комитет. Пушкин был осведомлен о мытарствах, которым подверглась рукопись Карамзина. Он надеялся, что покалеченная придирчивой рукой трусливого цензора записка «О древней и новой России» все-таки появится в свет; среди его бумаг сохранилось следующее уведомление: «Во втором № „Современника“ (на 1836 год) уже упомянуто было о неизданном сочинении покойного Карамзина. Мы почитаем себя счастливыми, имея возможность представить нашим читателям хотя отрывок из драгоценной рукописи. Они услышат если не полную речь великого нашего соотечест-

венника, то по крайней мере звуки его умолкнувшего голоса» (XII, 185).

Пушкин поторопился написать уведомление. Комитет вторично отправил рукопись Карамзина в Главное управление цензуры. 28 октября министр народного просвещения С. С. Уваров направил в Санктпетербургский цензурный комитет запрещение печатать записку покойного историографа. Лишь после смерти Пушкина Жуковскому удалось добиться иного решения — в пятом томе «Современника» рукопись Карамзина, усеченная цензурой, наконец появилась: «О древней и новой России, в ее политическом и гражданском отношениях (До смерти Екатерины II)», вместе с уведомлением Пушкина.

После смерти Карамзина Пушкин не упускал ни одного удобного случая, чтобы напомнить о его гражданском мужестве; подвигом честного человека называл он «Историю государства Российского». Иконописному образу верноподданного монархиста, который возникал под пером Греча и других официозных литераторов, Пушкин противопоставлял истинный лик смелого предстателя за отечественное просвещение, независимого мыслителя и смелого человека.³⁸ Но желание во что бы то ни стало напечатать записку Карамзина «О древней и новой России» появилось у Пушкина не только по моральным мотивам, не только из естественной потребности воздать должное его великой тени. Голос Карамзина, его страстные нападки на Петра I, его размышления об исторических судьбах родины словно врывались в ожесточенные споры писателей пушкинского круга; как мы помним, проблема «Россия и Запад» постоянно занимала их ум — «замогильная» записка Карамзина была как нельзя более кстати.

Приближался 25-летний юбилей Отечественной войны 1812 года, когда спор России и Запада решался не в кабинетах ученых и писателей, а на полях сражений. Теперь эти легендарные годы становились Историей, достоинством мемуаристов — гражданских и военных. Во втором номере «Современника» Пушкин поместил пространные выдержки из «Записок» Н. А. Дуровой, две статьи Вяземского о Наполеоне и туда же хотел «тиснуть» мемуар

³⁸ Подробнее об этом см.: Вацуро В. Подвиг честного человека. — «Прометей», № 5, 1968, с. 8—51.

ную статью Дениса Давыдова. «Статью о Дрездене» не могу тебе прислать прежде, нежели ее не напечатают, ибо она есть цензурный документ, — писал Пушкин Денису Давыдову в последних числах мая 1836 года. — Успеешь наглядеться на ее благородные раны. Покамест благодарю за позволение — напечатать ее и в настоящем ее виде. — А жаль, что не тиснули мы ее во 2-м № Современника», который у меня весь полон Наполеоном? куда бы кстати тут же было заколоть у подножия Вандомской колоны генерала Винценгероде как жертву примирительную! — я было и рукава засучил! Вырвался, проклятый; бог с ним, черт его побери» (XVI, 121—122).

Дочь кавалерийского офицера Надежда Андреевна Дурова (1783—1866) с 1806 года сражалась против французов. Александр I, узнав о том, что под именем улана Соколова воевала женщина, вызвал ее в столицу, велел называться Александровым и назначил корнетом в гусарский полк. При Бородине Дурова была контужена, а затем служила ординарцем у Кутузова. В начале 1836 года Дурова переслала свои записки Пушкину, который охотно согласился их печатать; в предисловии к ним издатель «Современника» писал: «С неизъяснимым участием прочли мы признания женщины, столь необыкновенной; с изумлением увидели, что нежные пальчики, некогда сжимавшие окровавленную рукоять уланской сабли, владеют и пером быстрым, живописным и пламенным» (XII, 64).

Правдивые картины ожесточенных сражений с наполеоновской армией, трудный ратный подвиг отступления, непоколебимая вера в победу России, такт, с которым автор сочетает автобиографический элемент повествования с эпической панорамой Отечественной войны, — все эти достоинства записок женщины-улана привлекли к ним сочувственное внимание Пушкина. И не только внимание. Опытный редакторский карандаш издателя «Современника» изъял из журнальной публикации те страницы, на которых фигура русской «амазонки» слишком заслоняла собою центральный сюжет записок — показ всенародной войны с иностранным нашествием.

Об умении военных владеть пером пишет в этом же номере «Современника» и Вяземский в статье «Наполеон и Юлий Цезарь». «Наполеон-писатель необходимый комментатор Наполеона-полководца, политика и прави-

теля»,³⁹ — замечает Вяземский. Он с восхищением говорит о целеустремленности, энергии писательского таланта Наполеона, об эпической цельности его натуры, о моральной стойкости его в годы заточения на острове святой Елены. «Многие удивлялись, как Наполеон мог *пережить* славу и державу свою, как мог он не избавиться собственным жертвоприношением от унижений и продолжительного мученичества падения своего?.. Удивление легкомысленное и суетное! Наполеон должен был иметь такую веру в судьбу свою, столь же чудесную и беспримерную, что он не мог отчаиваться до последней минуты: должен был ждать и не сходить с лица земли, пока земля носила его. Иначе Наполеон не был бы Наполеоном».⁴⁰

Тема душевной стойкости, моральной неустрашимости была кровно близка писателям пушкинского круга в 1830-е годы, когда их собственная судьба складывалась далеко не так, как им того хотелось. В статьях Пушкина этих лет, в его рецензии на книгу Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека», в его высказываниях о Радищеве и Карамзине настойчиво звучит эта тема.

Судьба крупного исторического деятеля обычно вызывает у потомства разноречивые оценки — сколько истолкователей, столько и суждений. Не избежал этой участи и Наполеон. Издатель оппозиционного «Московского телеграфа» хвалил его за разрушение остатков феодального строя в завоеванных им странах Европы, а издатель полуофициозной «Северной пчелы» Фаддей Булгарин — за укрощение французской революции. Каждый из них находил в деятельности Наполеона то, что искал..

Исторические приговоры зависят и от тех, кто их выносит, и от того, когда их пишут. Подчас апофеоз одного исторического деятеля является косвенным осуждением другого. Режим Луи-Филиппа не вызывал симпатий ни Пушкина, ни Вяземского. Порицать открыто его правление не дозволялось. Цензура Министерства иностранных дел следила за должным соблюдением «декорума». Другое дело — история. Хвалить Наполеона никому не возбранялось. Пусть при этом по контрасту восприятия становилась еще незначительнее фигура современного властителя Франции, короля «с зонтиком под мышкой», —

³⁹ «Современник», 1836, т. 2, с. 247—248.

⁴⁰ Там же, с. 252—253.

скрытые исторические параллели не подвергались цензурному запрету. Статья Вяземского «Наполеон и Юлий Цезарь» прошла цензурное «чистилище» без всяких помех.

О великом корсиканце говорилось и в статье Вяземского «Наполеон. Поэма Э. Кине». Конечно, жизнь Наполеона достойна эпопеи, вновь декларировал Вяземский. Но писатель не сумел овладеть предметом — герой поэмы памного превышает автора. Поэма Эдгара Кине побуждает Вяземского изложить свои историко-литературные взгляды, показать, как истощилась «литература Людовика XIV и даже литература мятежного XVIII века», как на смену строгому регламенту классицизма пришло освобождение от неприкосновенности литературных форм, как необузданный романтический гений завладел словесностью: «Странны свойства сей новой литературы: то откровенна она до наготы и до наглости, то самую наготу прикрывает бесполезными украшениями! Она *тагуирует* себя, как будто совестясь показаться в состоянии непорочности и пренебрегая между тем благопристойно завесить свое грешное тело. Это дикая островитянка, которая является к вам голая, но с серьгами в поздрах».⁴¹

Чопорная, в накрахмаленной мантии муза классицизма и пренебрегающая всеми приличиями романтическая «дикая островитянка», при всех разительных отличиях друг от друга, имеют общую, им обоим присущую черту, — им обоим недостает простоты: «Хочет ли новая литература попасть на простоту? Она не запросто проста, а с усилием. Простота не легко дается: это святыня, которая требует особенного призвания и долгого очищения. Простота должна быть как благодеяние, так что левая рука не ведает о милостыне, подаваемой правой. Будьте просты, не думая о простоте, не зная, что вы просты: тогда узнают и убедятся в том другие. Истина и простота — вот две главные стихии поэзии; в них талант отыщет силу и возвышенность».⁴²

Эти историко-литературные соображения Вяземского весьма схожи с высказываниями Пушкина и ориентированы в первую очередь на его творчество. Эстетическое кредо статьи Вяземского «Наполеон. Поэма Э. Кине», равно как и публицистический пафос статьи В. Ф. Одоев-

⁴¹ Там же, с. 275.

⁴² Там же.

ского «О вражде к просвещению...», наглядно показывают нам наличие существенной социальной общности основных сотрудников «Современника», которая проявлялась в значительной близости их литературно-общественных мнений.

Во втором номере «Современника» также напечатаны этнографический очерк А. И. Емичева «Мифология вотяков и черемис»⁴³ и обзор В. И. Золотницкого (чиновника казенной палаты Кавказской области) «Статистическое описание Нахичеванской провинции, составленное В. Г. и напечатанное по высочайшему соизволению». Очерк А. И. Емичева доставил В. Ф. Одоевский, обзор В. И. Золотницкого попал в «Современник», по всей вероятности, от Г. П. Небольсина, автора трудов по статистике внешней торговли России, редактора «Коммерческой газеты».

18 июня 1836 года Пушкин распорядился печатать для второго тома продолжение «Хроники русского» А. И. Тургенева; как мы знаем, А. И. Тургенев как раз в это время потребовал приостановить опубликование его заграничных корреспонденций. Пушкин вынужден был изъять из тома напечатанные уже страницы и поместить редакционное объяснение, которое удовлетворило А. И. Тургенева.

В другой редакционной заметке Пушкин предупреждал читателей о том, что в следующем номере «Современника» будут помещены полемические статьи: «Статья, присланная нам из Твери с подписью А. Б., не могла быть напечатана в сей книжке по недостатку времени.

Мы получили также статью г. *Косичкина*. Но, к сожалению, и эта статья доставлена поздно, и мы, боясь замедлить выход этой книжки, отлагаем ее до следующей» (XII, 183).

Среди поэтических произведений второго тома напечатаны стихотворение Кольцова «Урожай», семь глав из «Драматической сказки об Иване царевиче, жар-птице и о сером волке» Н. М. Языкова, отрывки из четвертого и пятого действия «Битвы при Тивериаде» А. Н. Муравьева и сцена из трагедии Е. Ф. Розена «Дочь Иоанна III».

«Второй № Современника очень хорош, и ты скажешь мне за него спасибо, — писал Пушкин П. В. Нащокину

⁴³ Подробнее об этом см.: Петряев Е. Д. Вятский литератор А. И. Емичев — сотрудник пушкинского «Современника». — Временник Пушкинской комиссии. 1965. Л., 1968, с. 56—61.

27 мая 1836 года. — Я сам начинаю его любить и, вероятно, займусь им деятельно» (XVI, 121).

Пушкин сдержал свое обещание; в третьем номере напечатаны: повесть Гоголя «Нос», стихотворения Тютчева, Вяземского, Давыдова, Стрормилова, «О партизанской войне» Дениса Давыдова, научно-популярная статья П. Б. Козловского «О надежде» (о теории вероятности), а также множество произведений самого издателя «Современника»: «Родословная моего героя», «Полководец», «Сапожник», «Отрывок из неизданных записок дамы (1811 год)», «Анекдоты», статьи и рецензии — «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...», «Об Истории Пугачевского бунта», «Вольтер» «Фракийские элегии, стихотворения Виктора Теплякова», «Джон Теннер», «Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико», «Словарь о святых, прославленных в Российской церкви, и о некоторых сподвижниках благочестия местночтимых», «Новый роман», «Письмо к издателю», словом, половина третьего тома заполнена сочинениями самого Пушкина.

Пушкин и в самом деле деятельно занялся «Современником». Но даже его собственный щедрый вклад не мог компенсировать отсутствие широкого круга сотрудников. Печатный орган — отголосок коллективного мнения, плод общих усилий, без которых он не может полнокровно существовать. Крайне ограниченный круг авторов — «ахиллесова пята» «Современника». В скупом перечне имен этого издания проявились и продолжающаяся социальная изоляция писателей пушкинского круга, и недостаток журнальной изворотливости у его инициатора. Если не считать постоянных посетителей суббот Жукковского — Гоголя, Вяземского, Одоевского, Розена, участие которых в «Современнике» было само собой разумеющимся, то можно констатировать, что большая часть материалов попала к Пушкину либо по собственному почину некоторых писателей, либо благодаря попечениям Вяземского и Одоевского, и лишь в незначительной степени вследствие забот самого издателя. Возможно, что привлечение к сотрудничеству Белинского создало бы определенный перелом, помогло бы Пушкину изжить свою журнальную «скованность», сделало бы возможным участие в его печатном органе литераторов разночинной ориентации, способствовало бы литературному альянсу передо-

вых дворянских и демократических писателей, словом, «Современник» мог бы стать таким популярным изданием, каким стали несколько лет спустя обновленные «Отечественные записки». Во всяком случае стремление привлечь Белинского к участию в «Современнике» крайне симптоматично — оно свидетельствует о желании Пушкина противодействовать социальной изоляции.

Трудно себе представить, как именно сложились бы взаимоотношения Пушкина и Белинского; вряд ли они были бы идиллическими, скорее всего возникли бы идейные споры и издательские трения. Обильный материал для реконструкции идейной позиции Пушкина и Белинского дают нам произведения издателя «Современника», помещенные в третьем томе, а также полемика с ними Белинского в последующие годы.

Ю. Г. Оксман показал, что в споре М. Е. Лобанова и Пушкина о современной литературе и литературной критике незримо «присутствовал» Белинский: «Персональная направленность против Белинского основных положений „мнения“ М. Е. Лобанова в специальной литературе отмечалась не раз, но активная поддержка, оказанная автору „Литературных мечтаний“ на страницах „Современника“ самим Пушкиным, прошла мимо внимания исследователей. В разборе „мнения“ М. Е. Лобанова их, видимо, смутило отсутствие как имени Белинского, так и точных цитат из его статей. Они не учли того, что Пушкин не имел права на расшифровку имени анонимного объекта нападок академического референта не только потому, что сам Лобанов прямо нигде его не называл, но и оттого, что эта расшифровка политически была бы для Белинского очень опасна. По условиям места и времени имя молодого критика осталось завуалированным. Спор приходилось вести без точных цитат и прямых сопоставлений имен. В полемику Лобанова с Белинским о роли „предания“ и об отношении к литературным авторитетам, о путях современной поэзии и о задачах академической критики Пушкин вторгался не просто как поэт и литератор, соратник или даже единомышленник Белинского, а как член Российской академии, по самому своему положению обязанный быть блюстителем традиций высокой литературы. Этот официальный, сугубо академический тон predetermined несколько архаический дидактизм статьи, ее ораторскую интонацию, имитирую-

щую (а может быть, и пародирующую) самого Лобанова. Именно этот тон, характерный в той или иной степени не только для статьи о Лобанове, но и для всех передовиц Пушкина в „Современнике“, должен внимательно учитываться при анализе всех вольных и невольных противоречий печатных и предназначавшихся для печати суждений Пушкина этой поры о Радищеве, о декабристах, о Вольтере и французской революции, о московских шеллингианцах, о Полевом и, наконец, о Белинском». ⁴⁴

Конечно, цензурные условия вынуждали порой Пушкина смягчать свои формулировки, выражаться намеками и обиняками. Но высказывать мнения, противоположные собственным воззрениям, Пушкин не стал бы ни в коем случае.

Пушкин отверг обвинение М. Е. Лобанова о наличии в России «множества безнравственных книг» и «дерзких, злонамеренных писателей». Гораздо сдержаннее ответ Пушкина по поводу литературной критики: «Конечно, критика находится у нас еще в младенческом состоянии. Она редко сохраняет важность и приличие, ей свойственные; может быть, ее решения часто внушены расчетами, а не убеждением. Неуважение к именам, освященным славою (первый признак невежества и слабomyслия), к несчастью, почитается у нас не только дозволенным, но еще и похвальным удалством» (XII, 71). Конечно, Пушкин имел в виду здесь общее состояние литературной критики, а отнюдь не одного Белинского, которого он не стал бы упрекать в расчетливости. Это был выпад по адресу литераторов «торгового» направления. Но слова о критиках, которые не уважают имен, освященных славою, подразумевали и Белинского. Вспомним, что в том же номере «Современника» Пушкин в «Письме к издателю» писал: «Жалею, что вы, говоря о „Телескопе“, не упомянули о г. Белинском. Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и с остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, — словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного» (XII, 97).

«Письмо к издателю» было подписано псевдонимом «А. Б.». Возможно, что Белинский и не знал, что его

⁴⁴ ЛН, т. 56. М., 1950, с. 252.

автором был сам Пушкин. Но он был уверен, что эта оценка соответствует точке зрения издателя «Современника». В обзоре «Русская литература в 1840 году» (1841) Белинский писал: «Пушкин не раз изъявлял свое негодование на дух неуважения к историческому преданию и заслуженным авторитетам отечественной литературы, — неуважения, которым обозначилось новейшее критическое движение: мы понимаем это оскорбление великого поэта, но не разделяем его. Этот дух неуважения не случайность, и причина его заключается не в буйстве, не в невежестве, но в разумной необходимости. Действительна одна истина, и только в одной истине благо и счастье; но истина сурова, неумолима и жестока до тех пор, пока человек только спустится к ней и еще не овладел ею. Первый шаг к ней, как мы уже сказали, — сомнение и отрицание».⁴⁵

Почтительно, но в то же время безоговорочно отвергает Белинский упреки Пушкина. При всем своем уважении и любви к Пушкину Белинский тем не менее не мог выразить согласие с его возражениями по собственному адресу. Это была не мелочная обида (как мы знаем, Белинский умел признавать свои ошибки), а принципиальное расхождение во взглядах. У истоков этого спора не случайные журнальные нападки, не взрыв оскорбленного самолюбия, а разность социальной позиции. По своим обоюдным личным симпатиям Пушкин и Белинский стремились друг к другу, но преодолеть исходные общественные различия было невозможно.

В третьем номере «Современника» Пушкин напечатал также «Родословную моего героя», резкую поэтическую отповедь и новоявленной аристократии, и «торговой» журналистике, возглавляемой Фаддеем Булгариным. Но вольно или невольно страстная защита старинного дворянства (пусть просвещенного, пусть независимого, пусть вольнолюбивого!) задевала всех представителей демократического образа мыслей. И когда Пушкин жалел,

Что геральдического льва
Демократическим копытом
У нас лягает и осел,

⁴⁵ Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. IV. М., 1954, с. 412—413.

то Белинский не мог оставить без ответа эту общественную декларацию. В том же обзоре «Русской литературы в 1840 году» критик писал: «Конечно, отвратительно видеть осла, который, помня когти и страшное рыканье льва, некогда приводившие его в трепет, лягает могилу этого „геральдического льва“ своим „демократическим копытом“ (по выражению самого Пушкина), — однако ж должно радоваться даже самым ложным, но только независимым мыслям о великом поэте: они показывают потребность разумного сознания, которое всегда начинается отрицанием непосредственного знания, т. е. знания по привычке или по преданию. Вот точка, с которой должно смотреть на так называемый дух неуважения в современной литературе. Этот дух неуважения — предвестник, светлая заря строгого и истинного духа уважения <...> который будет состоять в верной критической оценке каждого писателя по его заслуге и достоинству, — оценке, произнесенной на основании науки об изящном и перешедшей в общественное сознание».⁴⁶

Белинский-разночинец понял глубокую, внутреннюю связь между идейным потенциалом «Родословной моего героя» и осуждением духа неуважения к преданию в литературной критике — и в равной степени отклонил социальные притязания Пушкина. Несколько лет спустя, в 1846 году, в одиннадцатой статье о Пушкине Белинский счел нужным дать бой «Родословной моего героя», которая, по словам критика, «написана стихами до того прекрасными, что нет никакой возможности противиться их обаянию, несмотря на содержание». А содержание этой социальной инвективы было для Белинского неприемлемым. Он утверждал, что «Родословная моего героя» — «очень острая сатира, написанная поэтом на самого себя». Поэтическому апофеозу старинных дворянских родов Белинский противопоставил доводы трезвого рассудка, суждения демократа, видевшего изнанку всякого возвеличивания рода: «Тамерлан был большой аристократ, — по

⁴⁶ Там же, с. 413-414. — О «Родословной моего героя», о других стихотворениях Пушкина, напечатанных в «Современнике» и предназначенных для помещения в дальнейших его номерах см.: Измайлов Н. В. Лирические циклы в поэзии Пушкина конца 20—30-х годов. — Пушкин. Исследования и материалы, т. II. М.—Л., 1958, с. 7—48; то же в кн.: Измайлов Н. В. Очерки творчества Пушкина. Л., 1975, с. 213—269.

крайней мере при его жизни в этом никто не смел усомниться под опасением быть посажену на кол; но прежде, нежели сделаться великим ханом, он был кузнецом, заплатившим за покражу овцы увечьем ноги. Так и всякий род начат был одним человеком незнатного происхождения, у которого в родне был не один сапожник или портной». ⁴⁷

Чем сильнее любил и уважал Белинский Пушкина, чем отчетливее видел он исполинский масштаб его творческого гения, тем неистовее обрушивался он на социальные предрассудки великого поэта: «Как потомка старинной фамилии, Пушкина знал бы только его круг знакомых, а не Россия, для которой в этом обстоятельстве не было ничего интересного; но как поэта Пушкина узнала вся Россия и теперь гордится им, как сыном, делающим честь своей матери... Кому нужно знать, что бедный дворянин, существующий своими литературными трудами, богат длинным рядом предков, мало известных в истории? Гораздо интереснее было знать, что напишет нового этот гениальный поэт...» ⁴⁸

Знать это нужно было одному бедному дворянину — Пушкину. В этой «замогильной» полемике вскрывается несовместимость социальной позиции шестисотлетнего дворянина Пушкина и разночинца Белинского.

Но жизнь сложнее любой социальной схемы, точной и безупречной. Вопреки всем различиям Пушкин и Белинский чувствовали влечение друг к другу. Гибель Пушкина оборвала намечавшееся сотрудничество между ними на журнальном поприще, сотрудничество, которое неизбежно было бы трудным и могло даже привести к трагическому разрыву: ведь и Пушкин, и Белинский умели самозабвенно отстаивать свои выношенные годами убеждения, свои мнения, свои взгляды. ⁴⁹

⁴⁷ Там же, т. VII, с. 538.

⁴⁸ Там же, т. VII, с. 540—541. — «Замогильный» спор Белинского с Пушкиным имел, конечно, тесную связь с журнальной полемикой 1840-х годов, но этот аспект проблемы выходит за рамки настоящей работы.

⁴⁹ Подробнее об отношениях Пушкина и Белинского см.: Сергиевский И. Избранные работы. Статьи о русской литературе. М., 1961, с. 215—330; Гиллельсон М. Из истории итальянско-русских литературных связей. — РЛ, 1966, № 2, с. 246—248; Кока Г. М. «Примечания о памятнике...» (Из журнальной полемики 1836 года). — РЛ, 1969, № 2, с. 129—144.

Представитель передового дворянского просветительства, Пушкин распознал антигуманистическую сущность буржуазного общества; успехи промышленного развития в странах Западной Европы и Северо-Американских штатах не затмевали в его глазах коренных общественных пороков власти, основанной на господстве денежных отношений. Поэтому энергичные выпады Пушкина против «демократического копыта», имевшие сословный полемический подтекст, не подлежат однолинейной интерпретации. Кстати сказать, и сословное «высокомерие» Пушкина объясняется не стремлением к возвеличению своего класса, а значительно сложнее; писатель противопоставлял старинные дворянские фамилии, являвшиеся, по его убеждению, носителями принципов честности и независимости, новоявленной аристократии, пресмыкавшейся перед верховной властью; таким образом, это «высокомерие» оборачивалось защитой передовых, просвещенных дворян, потомков старинных родов. Чтобы распознать эти социальные нюансы, потребовались десятилетия, и естественно, что Белинский не мог понять всей сложности пушкинской позиции.

Если защита Пушкиным шестисотлетней родословной вызывала бурный протест Белинского, то критика буржуазных отношений издателем «Современника», вероятно, встречала понимание и сочувствие его социального антагониста. Ведь по своей пронизательности и обличительной силе антибуржуазные высказывания Пушкина, пожалуй, не уступают суждениям Бальзака о французских богачах-выскачках, суждениям, которые, как известно, высоко ценил Фридрих Энгельс.

«С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих, — писал Пушкин в статье «Джон Теннер». — Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, донныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ее географическим положением, гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвра-

тительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую — подавленное немолчим эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострашие; талант, из уважения к равенству принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами» (XII, 104).

Один из глубоких умов, которые занимались в те годы изучением американских общественных порядков, был Шарль Алексис Токвиль (1805—1859). Юрист по образованию, он был послан в 1831 году в Северо-Американские Соединенные Штаты для исследования местной пенитенциарной (тюремной) системы. Любознательный молодой ученый не ограничился этой узкой темой; он внимательно изучил американские нравы и написал труд «Демократия в Америке»; Пушкин читал это сочинение (оно сохранилось в его библиотеке) и называл Токвиля автором славной книги «De la démocratie en Amérique».

Аристократ по происхождению, Токвиль признал неизбежность торжества буржуазной демократии в современном ему обществе. Однако этот вывод не вызывал у него восторга. Он презирал буржуазию, видел корыстолюбие и безудержный эгоизм среднего сословия, его мелочное тщеславие. Критика американского образа жизни в сочинении Токвиля нашла полное понимание и сочувствие со стороны Пушкина. Чтение труда Токвиля усилило ненависть издателя «Современника» к царству «золотого тельца», к отвратительному цинизму буржуазной демократии.

Поэзия в третьем номере «Современника» представлена «Родословной моего героя», «Полководцем» и эпиграммой «Сапожник» Пушкина, циклом стихотворений Тютчева (окончание его напечатано в следующем номере «Современника»), эпиграммами Дениса Давыдова, стихотворением С. Стромиллова «3 июля 1836 года», посвященным празднику русского морского флота, лирическими стихотворениями Вяземского и выдержками из «Фракий-

ских элегий» В. Телякова, приведенными в рецензии Пушкина.

Стихотворения Тютчева попали в «Современник» через Вяземского и Жуковского. И. С. Гагарин писал 12 (24) июня 1836 года в Мюнхен Тютчеву: «...намедни и передаю Вяземскому некоторые стихотворения, старательно разобранные и переписанные мною. Через несколько дней захожу к нему невзначай около полуночи и застаю его вдвоем с Жуковским за чтением ваших стихов и вполне увлеченных поэтическим чувством, которым они проникнуты. Я был в восхищении, в восторге, и каждое слово, каждое замечание — Жуковского в особенности — все более убеждало меня в том, что он верно понял все оттенки и всю прелесть этой простой и глубокой мысли. Тут же решено было, что пять или шесть стихотворений будут напечатаны в одной из книжек пушкинского журнала, то есть появятся через три или четыре месяца, а затем будет приложена забота к выпуску их в свет отдельным небольшим томом. Через день ознакомился с ними и Пушкин. Я его видел после того, и, говоря об них со мною, он дал им справедливую и глубоко прочувственную оценку».⁵⁰

Заметим, что Жуковский и Вяземский дают обещание И. С. Гагарину поместить стихотворения Тютчева в «Современник» еще до ознакомления с ними Пушкина. Это позволяет нам яснее представить себе реальную обстановку в редакции «Современника». Единоличным издателем и редактором числился Пушкин; узаконенной редакционной коллегии не существовало. Но эта чисто внешняя сторона вопроса не соответствовала фактическому положению вещей. Сейчас мы лишены возможности достоверно выявить долю участия Вяземского, Жуковского и Одоевского в редакционных делах «Современника», но несомненно, что их пожелания, советы и порой предварительные решения играли существенную роль; по сути дела, существовало негласное редакционное ядро, действительно помогавшее Пушкину.

Как мы знаем, Пушкин сошелся с Жуковским и Вяземским в сочувственной оценке поэтического таланта Тютчева. Более того. Если Жуковский и Вяземский со-

⁵⁰ Цит. по кн.: Пигарев К. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962, с. 82—83 (подлинник по-французски).

бирались напечатать пять или шесть стихотворений, то Пушкин счел нужным опубликовать в третьем номере «Современника» шестнадцать поэтических миниатюр Тютчева. Стихотворение «Два демона ему служили», посвященное Наполеону, вызвало цензурный запрет; по всей вероятности, цензор счел предосудительным символику стихотворения: «Кому служили „два демона“? Позволительна ли такая служба? Не противоречит ли она основам христианской религии и нравственности?»⁵¹ Покалеченным оказалось пантеистическое стихотворение Тютчева «Не то, что мните вы, природа...», разрешенное к печати без двух средних строф, которые навсегда оказались утраченными.

Глубоко индивидуализированная, с явным налетом архаической стихии, впитавшая в себя пантеистическое восприятие жизни, окрашенная шеллингианскими настроениями, поэзия Тютчева оказалась желанной гостьей в пушкинском кругу писателей. И хотя Вяземский в ответ на религиозные рассуждения Александра Тургенева иронически замечал, что он не даст шиллинга за Шеллинга, тем не менее время неотвратимо вызывало иное, более спокойное и менее импульсивное отношение к вечным проблемам бытия. Религиозная нетерпимость порождала деистические и атеистические настроения, а последние, в свою очередь, вновь наталкивали пытлившую мысль на восприятие нравственных и этических основ религиозного сознания, которое в условиях антагонистического общества часто служило моральным катехизисом независимой личности, апофеозом ее бунтарских устремлений, ее внутреннего ниспровержения несправедливостей социального строя, основанного на угнетении одних общественных классов другими.

Во второй половине 1820-х годов Пушкина, как мы ранее отмечали, был чужд философских устремлений редакции «Московского вестника». За прошедшие десять лет мировосприятие Пушкина претерпело значительную эволюцию. Влияние французских энциклопедистов, с их скептической оценкой религиозных верований и всяких

⁵¹ Вацуро В. «Два демона». — В кн.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972, с. 267. — О цензурных мытарствах тютчевского цикла см. также: Рыскин Е. Из истории «Современника». Стихи Тютчева в третьей книге «Современника». — РЛ, 1961, № 2, с. 196—200.

метафизических прений, постепенно шло на убыль. Все более и более возникало уважение к немецкой философской традиции. «Умствования великих европейских мыслителей не были тщетны и для нас, — писал Пушкин в статье «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...». — Теория наук освободилась от эмпиризма, возымела вид более общий, оказала более стремления к единству. Германская философия, особенно в Москве, нашла много молодых, пылких, добросовестных последователей, и хотя говорили они языком мало понятным для непосвященных, но тем не менее их влияние было благотворно и час от часу становится более ощутительно» (XII, 72).

Благожелательное отношение Пушкина к немецкой философии, вероятно, отразилось на восприятии им поэзии Тютчева. Иное осознание бытия, отнюдь не «равнодушная природа» возникали в строках молодого русского дипломата, присланных из Мюнхена. Шеллингианская картина мира, которая ранее ощущалась в тяжеловесном косноязычии Шевырева, теперь обрела классическую ясность и поэтическую точность в пейзажной лирике Тютчева.

Органическое вживание в мир классических образов свойственно было и историко-философским стихотворениям Тютчева.

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир;
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

Античная пластичность формы, цельность поэтической картины, слияние психологической характеристики Цицерона с ярким зримым образом, — все это покоряет и донныне любителей поэзии. А для Пушкина эта историко-философская фреска была близка еще и тем, что оптимистическая, всепобеждающая тональность, торжествующая над трагическими аккордами жизни, звучала и в его собственных стихах.

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы,

И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог,
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обрести и ведать мог.

И пусть герой «Пира во время Чумы» сам находится в смертельной опасности, а тютчевский Цицерон лишь «высоких зрелищ зритель», лишь очарованный наблюдатель исторического катаклизма — и тот и другой посетили «сей мир в его минуты роковые», и тот и другой с наслаждением ощущают грань, отделяющую бытие от небытия, и тот и другой отмечены печатью бессмертия.

Гибелью грозит не только смерть, но и жизнь; в стремительной смене поколений — вечная угроза тем, чьи чувства и помыслы обращены только в минувшее.

Обломки старых поколений,
Вы, пережившие свой век!
Как ваших жалоб, ваших пеней,
Неправый праведен упрек!
Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!..

Нет двух одинаковых поколений, и в этом залог неустанного движения, постоянного изменения нравственного бытия мира. Вечный конфликт отцов и детей, вечное борение старого и отжившего с нарождающимся и новым — такова тема стихотворения Тютчева «Как птичка раннею зарей»; в заключительной строфе его сконденсирована неизбывная горечь тех, кого поэт назвал «обломками старых поколений». Между тем такова судьба каждого поколения; этот печальный жребий уготован и тем, кто сегодня еще молод. Поэтому строки Тютчева вечны.

Но, помимо этой вселенской общности, они выражают и чувства одного-единственного поколения. Того поколения, к которому принадлежал их автор, поколения, бурная судьба которого так безжалостно переломилась на Сенатской площади, поколения, которое так стремительно созрело и так внезапно стало взрослее своих лет. Это поколение Пушкина и его литературных друзей. Воспитанные в начале «дней Александровых», все они стали

насынками в годы царствования Николая I. Их историческую и социальную ущербность и выразил Тютчев, младший современник Жуковского, Вяземского, Пушкина.⁵² Младший оказался прозорливее старших. Лишь четыре года спустя Вяземский написал реквием своему поколению — «Смерть жатву жизни косит, косит»:

Сыны другого поколения,
Мы в новом — прошлогодний цвет:
Живых нам чужды впечатленья,
А нашим — в них сочувствий нет.

Наш мир — им храм опустошенный,
Им баснословье — наша быль,
И то, что пепел нам священный,
Для них одна немая пыль.

Так, мы развалинам подобны,
И на распутии живых,
Стоим, как памятник надгробный
Среди обителей людских.

Чем круче исторические переломы, чем обреченнее чувствуют себя идеологи того или иного класса, осужденного уступить место новым социальным силам, тем безнадежнее обзоревают они быстро меняющийся мир, тем трагичнее звучат их погребальные песни, их запоздалый апофеоз уходящей культуры.

Стихотворения Тютчева, напечатанные в «Современнике», прошли незамеченными и читателями, и критикой. Нам кажется почти невероятным, что лирика Бенедиктова имела в те годы несравненно больший успех, нежели творчество Тютчева, одного из наиболее совершенных мастеров русского поэтического слова. Признание пришло к Тютчеву позднее; в тридцатые же и сороковые годы талант его ценили лишь в узком кругу любителей изящного. Тютчев разделил судьбу непопулярности писателей пушкинского круга, к которому он органически примкнул по своим социальным симпатиям и литературным пристрастиям.

Его поэтическая судьба сложилась необычно. Жизнь в Мюнхене помешала Тютчеву своевременно сблизиться с Пушкиным и его литературными соратниками. Он вер-

⁵² Подробнее о социальной позиции Тютчева см.: Благой Д. Три века. Из истории русской поэзии XVIII, XIX и XX вв. М., 1933, с. 180—268 (главы «Творчество Тютчева», «Тютчев и Вяземский»).

пулся в Россию лишь в 1844 году, когда Пушкин уже покоился в ограде Святогорского монастыря, а Жуковский затворился в Германии; как Цицерон «застигнут ночью Рима был», так и Тютчев стал зрителем заката писателей пушкинского круга. И не только зрителем, но и одним из главных действующих лиц этой исторической трагедии.

«Фракийские элегии» Теплякова написаны в ином стилистическом ключе, нежели тютчевский цикл.

У Тютчева — сдержанная, немногословная поэтическая речь, отсутствие риторики и вычурных словесных фигур, предельная экономия художественных средств.

У Теплякова — бурный словесный поток, в котором мелькают мысли, образы, метафоры; эмоциональная экспрессия захлестывает автора; порой возникают неудачные сравнения и неточные выражения, отмеченные, кстати сказать, в рецензии Пушкина. Но отдельные недочеты не затмевают «гармонии, лирического движения, истины чувств». Наибольшей похвалы заслуживают, по мнению Пушкина, элегия «Гебеджинские развалины».

Века веков лишь повторенье!
Сперва — свободы обольщенье,
Гремушки славы наконец;
За славой — роскоши потоки,
Богатства с золотым ярмом,
Потом — изящные пороки,
Глухое варварство потом!

«Это прекрасно! Энергия последних стихов удивительна!» — заключает Пушкин (XII, 90).

Эпилог «Гебеджинских развалин», который так высоко оценил Пушкин, выделяется и поэтическим мастерством, и стремительным развитием мысли: в нескольких строках четырехстопного ямба распрямляется тугая историческая пружина, — неумолимая смена эпох — от греческого полиса до римской империи, до «изящных пороков», предвестников социальных катастроф, наследником которых грядет «глухое варварство» Средневековья. И тут поэтическое прозрение Теплякова словно пересекается с размышлениями Тютчева, с трагическим жребием Цицерона, который «среди бурь гражданских и тревоги» узрел с Капитолийской высоты закат римской империи.

Виктор Григорьевич Тепляков, сын тверского помещика, родился 15 августа 1804 года. Воспитывался будущий поэт в Московском университетском пансионе, где

и начал писать стихи. В 1820 году Тепляков надевает военный мундир; в полку он свел знакомство с П. П. Кавериним, приятелем Пушкина, человеком вольного образа мыслей. Дружба с П. П. Кавериним способствовала тому, что Тепляков стал проявлять оппозиционное равнодушие к монархической власти. В марте 1825 года он вышел в отставку. Вскоре за уклонение от присяги Николаю I, Тепляков был арестован, подвергнут церковному покаянию и выслан на жительство в Херсон. В 1829 году ему было поручено вести археологические разыскания на юге России. К этому времени и относится написание им «Фракийских элегий». Лирический герой этого цикла — «изгой, отвергнутый родиной, лишенный друзей и домашнего очага; его странничество — тяжелый и неизбежный крест; скептик и мизантроп, он осознает свой удел как наименьшее зло из возможных. <...> Тепляков неоднократно возвращается к теме исторически бессмысленного круговорота общества, где каждую цивилизацию ждет неизбежная гибель; к теме мировых катаклизмов, уничтожающих культуры».⁵³

Заочное сближение Теплякова с пушкинским кругом писателей происходит в 1830 году, когда в «Северных цветах» и «Литературной газете» появляются несколько его путевых писем и стихотворений. К 1835—1836 годам, ко времени жизни в Петербурге, относится его личное знакомство с Пушкиным; тогда же он общается с Жуковским, Плетневым, В. Ф. Одоевским; последний, давний товарищ Теплякова по Московскому университетскому пансиону, принимает деятельное участие в подготовке второго тома его стихотворений, который вышел в свет весной 1836 года. Скорее всего, именно Одоевский ознакомил Пушкина с этим изданием (возможно еще в корректурных листах) и получил согласие автора на обширные цитаты из «Фракийских элегий», приведенных Пушкиным в его рецензии. Если Пушкин хвалил поэзию Теплякова, то естественно, что Сенковский порицал ее — иронический отклик в «Библиотеке для чтения» на сборник стихотворений фракийского странника ясно показывает, что журнальные враги писателей пушкинского круга были и недругами Теплякова.

⁵³ Поэты 1820—1830-х годов, т. 1. Л., 1972, с. 595—596 (из биографической справки о Теплякове, написанной В. Э. Вацуро).

Четвертый номер «Современника» открывается мемуарной статьей Д. Давыдова «Занятие Дрездена». Как уже упоминалось, Пушкин готовил ее во второй номер, но цензурные мытарства воспрепятствовали его намерению.

Давыдов уязвил самолюбие и вызвал гнев генерала Винценгероде тем, что он воевал не по рутине, не по «правилам» — стремительно продвигаясь вперед, Давыдов во главе небольшого отряда занял Дрезден; а Винценгероде сам хотел войти победителем в столицу Саксонии. Давыдов был разруган, обвинен в нарушении приказа и лишен командования. Только заступничество Кутузова спасло Давыдова от облыжных обвинений. Теперь, четверть века спустя, Денис Давыдов пытался восстановить историческую истину. Но двадцать пять лет оказалось сроком недостаточным — военная цензура изъяла все филиппики, нацеленные в амбициозного генерала.⁵⁴

Из прозаических произведений в четвертом номере «Современника» напечатаны «Капитанская дочка» (роман Пушкина занял более половины всего тома — 173 страницы из 308), продолжение заграничных корреспонденций А. И. Тургенева, «Вечер в Царском Селе» А. Н. Муравьева,⁵⁵ «Прогулка за Балканом. (Отрывок из невероятного рассказа чичероне дель К... О)», авторство которого до последнего времени приписывалось В. П. Титову, одному из «архивных юношей», литератору, сотруднику «Московского Вестника» и других журналов. Совсем недавно В. Безъязычный установил, что автором отрывка романа, появившегося в «Современнике», на самом деле был Николай Павлович Титов (1805—1845), родной брат В. П. Титова; прапорщиком Украинского пехотного полка Н. П. Титов участвовал в русско-турецкой войне 1828—1829 годов; впечатления об этих военных событиях и отразились в его произведениях.⁵⁶

⁵⁴ Подробнее о цензурном вмешательстве в статью «Занятие Дрездена» см.: Рыскин, с. 58—59. — С цензурными купюрами была напечатана в третьем номере «Современника» другая статья Д. Давыдова — «О партизанской войне»; места, изъятые цензурой, в последнее время обнаружены — об этом см.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины», с. 257—258 (разыскания В. Э. Вацуро).

⁵⁵ Об авторстве этой анонимной статьи см.: Рыскин, с. 60—62.

⁵⁶ «Неделя», 1975, № 3, с. 8.

Поэзия в четвертом номере «Современника» представлена окончанием тютчевского цикла, посланием Баратынского к Вяземскому «Как жизни общие призывы», тремя стихотворениями Л. А. Якубовича, анонимным стихотворением «Молитва об Ольге прекрасной» («Странников дальних ангел-хранитель...»), начальными строфами стихотворения Пушкина «Перед гробницею святой», посвященного памяти Кутузова.

В 1837 году «Современник», как известно, издавался Вяземским, Жуковским, Краевским, Одоевским и Плетневым. По именам писателей, участвовавших в «Современнике», издание продолжало быть органом литераторов пушкинского круга; в нем печатались произведения самого Пушкина, стихи и статьи Жуковского, Вяземского, Баратынского, Ишимовой, Одоевского, А. И. Тургенева, Языкова. Постепенно «редакционная коллегия» расширила круг сотрудников; в «Современнике» стали появляться произведения Э. Губера, Н. Веревкина, А. Вельмана, В. Бенедиктова, А. Волконского, Ф. Глинки, А. Глинки, Е. Гребенки, В. Даля, М. Деларю, П. Ершова, М. Загоскина, А. Карамзина, П. Катенина, Г. Квитка, И. Козлова, В. Любич-Романовича, П. Ободовского, И. Панаева, А. Подолинского, Е. Ростопчиной, В. Соколовского, В. Титова, В. Туманского, Е. Фроловой-Багреевой, П. Шаликова, С. Шевырева, О. Шишкиной, В. Соллогуба. Пожалуй, за исключением Бенедиктова, поэзию которого Пушкин недолго любил, все остальные имена могли бы появиться в «Современнике» и при жизни его первого издателя.

С 1838 года единоличным издателем «Современника» стал Плетнев; при нем судьба журнала была не из счастливых; он имел мизерный тираж и из года в год едва влачил свое существование.

Наиболее дальновидным из литераторов пушкинского окружения оказался В. Ф. Одоевский. Его журнальный альянс с А. А. Краевским, — издание обновленных «Отечественных записок», — позволил передовым дворянским литераторам выступать в одном печатном органе с разночинной интеллигенцией. Но история журнальных предприятий 1840-х годов не вмещается в рамки нашей книги. Проследить дальнейшую судьбу писателей пушкинского круга — тема особого исследования.

Последний акт жизненной трагедии Пушкина с особой силой приковывает взоры поколений. Давно уже известны имена прямых и косвенных виновников смерти поэта; досконально изучены подробности этой катастрофы. Драматические события, приведшие к кровавой развязке, поражают наше воображение; они невольно заслоняют от нас умственную жизнь Пушкина в последние предгрозовые месяцы. Между тем энциклопедические интересы Пушкина, его богатая внутренняя «лаборатория», его усиленные занятия русской историей столь интенсивны, что исследование их сулит много интересного, ускользнувшего от нашего внимания. И здесь к нам на выручку снова спешит Александр Иванович Тургенев; его дневник помогает нам понять, какой напряженной интеллектуальной жизнью жил Пушкин на краю гибели.¹

20 ноября 1836 года Александр Иванович выехал из Москвы в Петербург. Наступили месяцы самых тесных

¹ В 1928 г. П. Е. Щеголев опубликовал выдержки из дневника Тургенева с 25 ноября 1836 года по 19 марта 1837 года (Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Изд. 3-е. М.—Л., 1928, с. 274—300. В дальнейшем цитаты из этого дневника, сверенные с рукописью, даются по указанному изданию). Исследователь привлек для своей работы лишь те записи, которые относились к дуэли и смерти поэта. Наиболее содержательные, насыщенные идейной информацией записи Тургенева о его беседах с Пушкиным остались без пояснения. Позднее только небольшая часть их привлекла внимание пушкинистов (М. П. Алексеев, И. Л. Фейнберг).

его отношений с Пушкиным, В письме к И. С. Аржевитинову, своему двоюродному брату, Тургенев писал 30 января 1837 года: «Последнее время мы часто видались с ним и очень сблизились; он как-то более полюбил меня, а я находил в нем сокровища таланта, наблюдений и начитанности о России, особенно о Петре и Екатерине, редкие, единственные. Сколько пропало в нем для России, для потомства, знают немногие...»²

Тогда знали немногие, теперь знает вся мыслящая Россия.

«27 ноября... Обед у Вяземских — с Жуковским», с Пушкиным в театре. Семейство Сусанина; открытие театра, публика. Повторение одного и того же. Был в ложе у Экерна» (274—275).

В письме к брату Тургенев писал несколько подробнее о своих впечатлениях:

«Вчера я был на открытии театра; давали новую русскую оперу Семейство Сусаниных композитора Глинки, и это отлично во всех отношениях: театральная роскошь, костюмы, публика, музыка и балетные номера! Двор присутствовал почти полностью. Ложи, заполненные богато разодетыми красавицами.

Я нашел Жуковского в хорошем состоянии; он всегда такой же для всех и для всего, и мы говорили обо мне. Вяземский менее опечаленный; Пушкин озабочен семейными делами».³

29 ноября Александр Иванович встречается с Пушкиным вечером у Вяземских, 30-го — у Карамзиных, где отмечали день рождения покойного историографа. 2 декабря Тургенев навестил Пушкина и беседовал «с ним о древней России: „быть без мест“» (276). Вероятно, воспоминания о Карамзине вызвали желание поговорить о временах давно прошедших, описанных в «Истории государства Российского». С середины XV века в России существовало так называемое местничество, которое устанавливало право бояр, в зависимости от древности и знатности рода, на чины и должности при дворе Московского князя. По этому обычаю строго соблюдалось распределение мест за великокняжеским столом и во время всяких

² РА, 1903, кн. 1, с. 143.

³ Щеголев П. Е. Указ. соч., с. 275 (подлинник по-французски).

церемоний. Однако в отдельных случаях, по желанию государя, этот обычай не соблюдался; выражение «быть без мест» означало приказ не придерживаться обычной иерархии. Эти частные отступления не колебали существенно местничество, которое было уничтожено лишь в 1682 году при царе Федоре Алексеевиче.

5 декабря Тургенев и Пушкины были на обеде в хлебосольном доме М. В. Пашкова. «Кто-то, увидев прелестную талию Пушкиной, утонченную до того, что ее можно обнять Филаретовой поручью, спросил в изумлении: „Куда же она положит обед свой?“», — не без юмора писал Александр Иванович в Москву.⁴

«6 декабря. Брал возок. В 11-м часу был уже во дворце. Обошел залы, смотрел на хоры. Великолепие военное и придворное. Костюмы дам двора и города. <...> Пушкина первая по красоте и туалету... Лобызание Уварова» (276).

О том же посещении дворца Тургенев сообщал А. Я. Булгакову: «Пение в церкви восхитительное! Я не знал, слушать ли или смотреть на Пушкину и ей подобных? подобных! но много ли их? Жена умного поэта и убранством затмевала всех».⁵

9 декабря Александр Иванович был в гостях у Пушкиных, а 10-го смотрел с ними в театре французские водевили.⁶ «Играют похабные пьесы», — сказал А. И. Тургенев Баранту о французском театре несколько дней спустя.

«15 декабря. <...> вечер у Пушкиных до полуночи. Дал песню о полку Игорева для брата с надписью. О стихах его, Р. и Б.⁷ Портрет его в подражании Державину: «весь я не умру!» О М. Орл<ове>, о Кисел<еве>, Ермол<ове> и к. Менш<икове>. Знали и ожидали, „без нас не обойдутся“. Читал письмо к Чаадаеву, не посланное» (278).

⁴ Тургенев А. И. Письмо Булгаковым. М., 1939, с. 197—198. — Поруча — короткие рукава, надеваемые на руки священнослужителей при их облачении. Филарет (Дроздов Василий Михайлович, 1782—1867) — с 1826 г. митрополит московский и коломенский.

⁵ Московский пушкинист, вып. I. М., 1927, с. 33.

⁶ Яшин М. История гибели Пушкина. — «Нева», 1968, № 2, с. 192.

⁷ По-видимому, Р. — Ростопчаина Е. П. (1811—1858), поэтесса, Б. — Бенедиктов В. Г. (1807—1873), поэт.

Начало этой записи прокомментировано самим Александром Ивановичем в его письме к брату в Париж: «О песне о Полку Игореве» переговору с Пушкиным», который ею давно занимается и издает с примечаниями. <...>

Полночь. Я зашел к Пушкину справиться о песне о Полку Игореве, коей он готовится критическое издание. Он посылает тебе прилагаемое у сего издание оной на древнем русском (в оригинале) латинскими буквами и переводы Богемский и Польский; и в конце написал и свое мнение о сих переводах. У него случилось два экземпляра этой книжки. Он хочет сделать критическое издание сей песни, в роде Шлецерова Нестора и показать ошибки в толках Шишкова и других переводчиков и толкователей; но для этого ему нужно дожидаться смерти Шишкова, чтобы преждевременно не уморить его критикою, а других смехом. Три или четыре места в оригинале останутся неясными, но многое пояснится, особливо начало. Он прочел несколько замечаний своих, весьма основательных и остроумных: все основано на знании наречий славянских и языка русского. <...> Я провел у них весь вечер в умном и любопытном разговоре...»⁸

15 мая 1836 года И. М. Снегирев записал в дневнике, что он навел на Пушкина, который «просил сообщить ему мои замечания на Игореву песнь, коею он занимается, как самородным памятником русской словесности».⁹

Записки И. П. Сахарова, посетившего Пушкина за несколько дней до дуэли, сохранили следующий рассказ: «Пред смертью Пушкина приходили мы, я и Якубович, к Пушкину. Пушкин сидел на стуле; на полу лежала медвежья шкура; на ней сидела жена Пушкина, положив свою голову на колени к мужу. <...> Здесь я слышал его предсмертные замыслы о Слове Игорева полка — и только при разборе библиотеки Пушкина видел на лоскутках начатые заметки».¹⁰

После «Песни о полку Игореве» 15 декабря 1836 года разговор зашел о современной поэзии, по-видимому о Ростопчиной и о Бенедиктове, и, конечно, о самом Пушкине. Поэт прочитал самое сокровенное свое стихотворение —

⁸ Щеголев П. Е. Указ. соч., с. 278.

⁹ РА, 1902, № 10, с. 170—171.

¹⁰ РА, 1873, № 6, стб. 955.

«Памятник», «портрет его в подражание Державину», как записано в дневнике Тургенева.

В свой последний год Пушкин все сильнее испытывал невыносимую тяжесть жизни. Он не хотел смерти, но интуиция подсказывала ему, что он накануне опасного испытания, которое может окончиться гибелью. Возникла настоятельная потребность окинуть единым взором содеянное им. Так возник «Памятник». Академик М. П. Алексеев, посвятивший обширный труд этому стихотворению, установил, что до нас дошло лишь два (!) достоверных свидетельства современников о чтении Пушкиным «Памятника», — письмо Александра Карамзина к брату Андрею от 31 августа 1836 года, в котором сообщалось, что поэт читал это стихотворение Н. А. Муханову, и дневниковая запись Тургенева.¹¹

В «Памятнике» Пушкин вновь декларировал приверженность вольнолюбивым идеям своего века, вспоминал о том, что его лира призывала «милость к падшим», то есть к подвижникам 14 декабря. Естественно, что чтение «Памятника» направило разговор в русло декабристского движения. Речь зашла об А. С. Меншикове, участвовавшем вместе с М. Ф. Орловым в преддекабристском Ордене Русских рыцарей, о генерале Ермолове, о начальнике штаба 2-й армии П. Д. Киселеве. Все эти лица составляли негласный резерв декабристов; недаром кому-то из них принадлежит фраза, записанная Тургеневым: «без нас не обойдутся».

Разговор о событиях 14 декабря, о судьбах России подвел собеседников к «Философическому письму» Чаадаева. Шестьсот верст, отделявшие Москву от Петербурга, мешали Пушкину лично высказать автору свои суждения о «Философическом письме». 19 октября 1836 года он написал Чаадаеву подробное письмо; написал, но не отправил; в дни, когда московский философ-публицист стал жертвой издевательского распоряжения Николая I, серьезная полемика была небезопасна и неуместна. «Ворон ворону глаза не выклюнет», — надписал Пушкин на письме к Чаадаеву.

До чего же близким единомышленником считал Пушкин Александра Ивановича, если именно ему прочел по-

¹¹ Алексеев М. П. Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...» Л., 1967, с. 23—25, 111—112.

ложенное под спуд письмо. А прочесть было необходимо; письмо жгло; оно не давало покоя; хотелось проверить силу аргументации, внутреннюю логику доводов. Для нас, знающих исторические и общественные взгляды Тургенева, несомненно, что в споре с Чаадаевым он взял сторону Пушкина.

Какой разнообразный круг вопросов подвергался суду Пушкина и Тургенева; под влиянием затянувшейся до полночи беседы Александр Иванович вскоре писал своей знакомой, хозяйке московского литературного салона Екатерине Александровне Свербеевой: «Пушкин мой сосед. Он полон идей, и мы очень сходимся друг с другом в наших нескончаемых беседах; иные находят его изменившимся, озабоченным и не принимающим в разговоре того участия, которое прежде было столь значительным. Я не из их числа, и мы с трудом кончаем разговор, в сущности не заканчивая его, то есть никогда не исчерпывая начатой темы».¹²

Перед нами возникают два образа Пушкина: один — затравленный постыдными дипломами и злыми языками, ожесточенный до предела камер-юнкер двора его императорского величества; другой — оживленный, поглощенный множеством замыслов, полный нескончаемого потока мыслей в обществе Александра Ивановича.

«Был на балу у Е. Ф. Мейендорфа, — записано в дневнике Д. Е. Келлера 17 декабря. — Он и жена говорили о Пушкине, о данном мне поручении перевести для государя рукопись генерала Гордона (сподвижника Петра). Я не танцевал и находился в комнате перед залой. Вдруг вышел оттуда Александр Сергеевич с Мейендорфом и нетерпеливо спрашивал его: «Но где же он? Где он?» Егор Федорович нас познакомил. Пошли расспросы об объеме и содержании рукописи. Пушкин удивился, когда узнал, что у меня шесть томов in-quarto, и сказал: «Государь говорил мне об этом манускрипте, как о редкости, но я не знал, что он столь пространен». Он спросил, не имею ли других подобных занятий в виду по окончании перевода, и упрашивал навещать его».¹³

¹² «Московский пушкинист», вып. 1, с. 23—24 (подлинник по-французски).

¹³ Пушкин А. С. Сочинения, под ред. П. Ефремова, т. VIII. СПб., 1905, с. 586.

Несколько дней спустя, 21 декабря, Пушкин и Тургенев обедали у археолога Е. Е. Келлера: «Сын Келлера переводит моего Гордона по Высочайшему повелению, а из Архива вытребовал и оригинал, — записал Александр Иванович. — Мой списан с Архивского, но помечен рукою Мюллера»¹⁴ (280).

Подробности приобретения этой редкой рукописи Тургенев сообщил в своих заграничных корреспонденциях: «В бытность мою в Лондоне известный книгопродавец Муррай — друг и издатель Байрона — уступил мне найденную мною у него рукопись, содержащую подробный „Журнал генерала Гордона“, шотландца, служившего во время двоецарствия и потом при Петре I. <...> Записки Гордона могут быть любопытны не только для истории его времени, и особенно для биографа Петра Великого, но и для занимающихся историею государственного управления в России вообще».¹⁵

Это строки из корреспонденции Тургенева, которую Пушкин готовил в то время для «Современника». Александр Иванович прав — дневник генерала-шотландца был любопытен Пушкину, историографу Петра I.

«19 декабря... Вечер у кн. Мещерской (Карамзиной). О Пушкине; все нападают на него за жену, я заступался. Compliments С<офии> Н<иколаевны> моей любезности. О Париже и пр.» (279).

Можно себе представить, как насмешливы были комплименты С. Н. Карамзиной, которая в отличие от Тургенева не понимала Пушкина и осуждала его поведение: «... мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе, Пушкин прерывал свое угрюмое и стеснительное молчание лишь редкими, короткими, ироническими, отрывистыми словами и время от времени демоническим смехом. Ах, смею тебя уверить, что это было ужасно смешно», — писала она брату о поведении Пушкина на придворном бале и маскараде.¹⁶

Пушкин, конечно, чувствовал, на чьей стороне симпатии Александра Ивановича; не исключено, что поэт был

¹⁴ Мюллер (Миллер) Иоани (1752—1809) — историк.

¹⁵ Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). М.—Л., 1964, с. 103.

¹⁶ Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.—Л., 1960, с. 148. Письмо от 29 декабря 1836 г. (подлинник по-французски).

осведомлен о заступничестве Тургенева. Как бы там ни было, Пушкин с каждым днем все больше тянулся к Тургеневу.

«21 декабря. <...> Пушкину обещал о Шотландии. После обеда у князя Вяземского с Пушкиным и прочими» (280).

Александр Иванович исполнил свое обещание 9 января; под этой датой отмечено, что передал Пушкину «выписки из моего журнала о Шотландии и Веймаре» (285).

Выписки Тургенева о Веймаре Пушкин сразу же стал готовить к печати; под названием «Отрывок из записной книжки путешественника (Веймар. Тифурт. Дом и кабинет Гете. Письмо к нему В. Скотта)» они появились в пятом томе «Современника», вышедшем в свет после смерти Пушкина.

Выписки о Шотландии до сего времени неизвестны. Однако несомненно, что Александр Иванович передал Пушкину описание своей поездки из Лондона в Абботсфорд летом 1828 года. Это путешествие крепко запало в душу Александру Ивановичу. Десять лет спустя он писал князю А. Н. Голицыну: «Перееду в Шотландию и возобновлю впечатления 1828 года и навещу замок, принадлежащий ныне истории, где наслаждался я три дня просвещенным гостеприимством Вальтер-Скотта. С его романами в дорожной сумке объеду озера, острова, горы и замки, им описанные, и возвращусь в Лондон привести в порядок мои исторические воспоминания и впечатления».¹⁷

История путешествия Тургенева в Шотландию такова. В апреле 1828 года ему посчастливилось попасть на вечер в гостеприимный английский дом, куда был приглашен и Вальтер Скотт. Английский писатель предложил А. И. Тургеневу посетить Абботсфорд. Русский путешественник принял любезное приглашение английского романиста и два месяца спустя тронулся в путь. Он посетил древний Оксфорд, где ничто не тревожит «лень души и ума». Затем он проехал Вудсток, «прославленный Чосе-

¹⁷ ИРЛИ, ф. 309, № 1102а. Цит. по копии письма от 21 августа (9 сентября) 1838 г.

ром, отцом английской поэзии», и романом В. Скотта. Далее А. И. Тургенев добрался до Стратфорда-на-Эвоне, родины Шекспира; был поражен тем, что в доме, где родился бессмертный драматург, торгуют мясом. Это навело на грустные размышления, и А. И. Тургенев отправился отыскивать древнюю церковь, где похоронен Шекспир и супруга его. «Вид с моста на церковь, где покоится прах Шекспира, точно прелестный. Лес осеняет могилу певца и философа, и Авон отражает его и сохраняет зелень неувядаемой, как слава его».¹⁸

Оттуда А. И. Тургенев проехал в Варвик, осмотрел тамошний замок, «прекраснейший в Англии и достойный стихов Жуковского». Кстати сказать, по балладе Жуковского Варвиком был прозван в «Арзамасе» его брат — Н. И. Тургенев. Так личные воспоминания вплетались в тишину старинного английского замка.

В городке Кесвик А. И. Тургенев нанес визит поэту Роберту Саути и показал ему книгу Жуковского, в которой были помещены переводы его баллад.

4 августа А. И. Тургенев прибыл в Абботсфорд и три дня пользовался гостеприимством В. Скотта. И вел подробный дневник, который представлял для Пушкина острый интерес. Произведения В. Скотта Пушкин высоко ценил и называл их великими созданиями, пищею души. «Главная прелесть романов В. Скотта, — писал Пушкин, — состоит <в том>, что мы знакомимся с прошедшим временем — не с *enflure* <напыщенностью> фр<анцузских> трагедий, не с чопорностью чувствительных романов, но с *dignité* <приподнятым тоном> истории, но и современно, но домашним образом». (XII, 195).

А тут, в описании Александра Ивановича — сам Вальтер Скотт в своем семейном кругу, живой, общительный, обаятельный.

Возможно, что среди листов, переданных Пушкину и не увидевших света из-за смерти поэта, был рассказ о посещении Единбурга и некоторые другие подробности путешествия, не воспроизведенные нами. Но, несомненно, осмотр шекспировских мест, Оксфорда, Вудстока и Варвика, знакомство с Робертом Саути, трехдневное пребывание в гостях у Вальтера Скотта были опорными пунктами его повествования. Это была единая цепь историко-

¹⁸ ИРЛИ, ф. 309, № 10, л. 91 об.

литературных ассоциаций, последовательно подводящая к кульминации — к посещению Абботсфорда.

На основании заметок Пушкина и других материалов выявлен целый ряд работ, которые издатель «Современника» собирался включить в ближайшие номера журнала.¹⁹ Теперь к этому списку следует добавить шотландский «цикл» Тургенева.

24 декабря 1836 года Александр Иванович был в гостях у графини Эмилии Карловны Музиной-Пушкиной.

«Я сидел подле Пушкина и долго и много разговаривал. Вяземск^{ий} порадовал действием, произведенным моей Хроникою. Пушк^{ин} о Мейендорфе: притворяется сердитым на меня за то, что я хотел спасти его. Пушк^{ин} зазвал к себе. <...> Читал роман Пушкина» (281).

В эти дни вышел в свет четвертый том «Современника»; в нем было напечатано продолжение парижской «Хроники русского», — о благоприятных отзывах на нее сообщил Вяземский. В этом же номере «Современника» появилась «Капитанская дочка», которую вечером, вернувшись от Пушкина, читал Тургенев.

«25 декабря. <...> к Карам^{зинным}. С Пушкиным выговаривал ему за словцо о Жуков^{ском} в IV № Современ^{ника} (Забыл Баркляя)» (281).

Стихотворение Пушкина «Полководец», посвященное Барклаю де Толли, вызвало полемику. Л. И. Голенищев-Кутузов, племянник Кутузова, в своей брошюре упрекал Пушкина в желании умалить заслуги великого полководца. Пушкин вынужден был напечатать объяснение, в котором писал: «...не могу не огорчиться, когда в смиренной хвале моей вождю, забытому Жуковским, соотечественники мои могли подозревать низкую и преступную сатиру...» (XII, 134). Действительно, в стихотворении Жуковского «Певец во стане русских воинов» Барклай де Толли не упомянут среди героев Отечественной войны 1812 года.²⁰

¹⁹ Об этом см.: Рукою Пушкина, с. 281—285.

²⁰ Об этом см.: Кока Г. Пушкин о полководцах двенадцатого года. — «Прометей», № 7, 1969, с. 17—37; Вацуро В. Э. Вокруг «Современника». — В кн.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». М., 1972, с. 259—266.

Этот частный случай имел для Пушкина более широкое значение. Мысль о забвении заслуг исторического лица, будь то полководец или писатель, часто посещала его в эти годы. Вполне вероятно, что, упрекая неблагодарных современников, Пушкин мог думать и о собственной судьбе, о недоброжелательных суждениях, которые раздавались по его адресу в это трудное время.

В последние дни года на страницах дневника Тургенева начинает мелькать имя Гизо. 26 декабря А. И. Тургенев беседовал с французским послом Барантом о речи Гизо, 27 декабря Барант прислал ему эту речь. Наконец, 30 декабря, отмечая посещение Академии наук, он записал: «Жук<овский>, Пушк<ин>, Блуд<ов>, Уваров о Гизо» (283).

Имя Гизо, французского историка и политического деятеля, было отлично известно Пушкину. Еще в «Графе Нулине» (1825) Пушкин, иронизируя над своим героем, писал, что он вернулся из чужих краев «с ужасной книжкою Гизота» — намек на либеральные политические памфлеты Гизо. В начале 1830-х годов, задумав писать труд о французской революции, Пушкин читал исторические сочинения Гизо; в библиотеке Пушкина сохранились книги Гизо, в переписке не раз упоминаются его работы. Чем же был вызван повышенный интерес к Гизо в декабре 1836 года?

10 (22) декабря в Париже, во Французской академии, при большом стечении публики, на место умершего философа, экономиста, члена Конвента во времена Великой французской революции Дестю де Траси был избран Гизо; в этот день он стал одним из сорока «бессмертных» Французской академии. По установленному ритуалу Гизо произнес речь — надгробное слово своему предшественнику. Именно эта речь и обсуждалась в петербургских салонах.

Гизо запечатлел жизненный путь Дестю де Траси на грозовом небосклоне французской истории. Его речь была величественным дифирамбом «великому столетию, которое завоевало мир», восхвалением «великого философа, последнего из поколения великих философов».²¹ Гизо про-

²¹ «Moniteur universel», 1836, № 358 (23.XII), p. 2261.

славлял титанов мысли XVIII века — Монтескье и Руссо, Вольтера и Бюффона, Кондильяка и Гельвеция, Дидро и Дестю де Траси. В быстром обзоре перед слушателями возникали головокружительные взлеты и стремительные падения Франции.

Это была речь присяжного оратора, привыкшего приковывать к себе умы. Ораторское искусство Гизо состояло в том, что он умел избегать монотонности и выпяченного красноречия; в его речи попеременно слышались два голоса: то уверенный голос самого Гизо, представителя нового времени, нового поколения, принявшего эстафету прогресса и просвещения от великих энциклопедистов; то усталый скептический голос Дестю де Траси, разочарованного тем, что не удалось установить на земле царство разума. Испытания якобинской диктатуры и наполеоновского самовластия сокрушили его веру в человечество. Правда, он дожил до возрождения популярности своих учителей, дождался и собственного успеха. Но «настоящее его не удовлетворяло, к будущему он не питал доверия».²²

Тургенев не поделился с нами мнением Пушкина о речи Гизо. Но, зная высказывания Пушкина о современной ему Франции, можно предполагать, что ему был ближе скепсис Дестю де Траси, нежели оптимизм Гизо.

«6 генваря <...> в 10 час. вечера отправился к Фикельмону: там любопытный разговор наш с Пушкин<ым>, Барантом, кн. Вязем<ски>м. Хитрово одна слушала, англичанин²³ после вмешался. Барант рассказывал о записках

²² Ibid., p. 2262.

²³ Как установил Л. А. Черейский, англичанин — Чарльз Вильям Вейн Лондондерри (1778—1854), лорд, английский политический деятель, крайний толи; в 1835 г. он был назначен послом в Россию, но палата общин не утвердила это назначение. Он посетил Россию как частное лицо с сентября 1836 года по начало февраля 1837 года. Как видно из его воспоминаний, он был благосклонно принят Николаем I, Нессельроде и Чернышевым. Повествуя о приеме у императрицы в Царском Селе 13 сентября 1836 года, он упоминает среди присутствовавших Н. Н. Пушкину («Tour in the North of Europe in 1836—1837», V. I. London, 1838, p. 133), но никаких данных о встречах с Пушкиным и Тургеневым в его книге не имеется. Между тем в дневнике Тургенева за 29 декабря 1836 года значится, что он возил Лондондерри на годичный акт Академии, и, конечно, именно его обозначил Тургенев «англичанином» в дневниковой записи от 6 января 1837 г.

Талейрана, кои он читал, с глазу на глаз с Тал^сейраном», о первой его молодости и детстве. Много нежного, прекрасного, напоминающего *les Confessions de J. J. Rousseau*. В статье о Шуазеле, коего не любит Тал^сейран», много против Шуазеля. Шуазель дурно принял Талейрана и не любил его. Бакур будет издателем записок его. О Лудвиге 18, как редакторе писем и записок. Письмо к дофину, отданное Деказу. О записках Екате^рины», о Потемкине. Письмо Монте^скье по смерти Орлеанского. После Монте^скье осталось много бумаг, они были у Лене, для разборки и издания; вероятно возвращены внуку Монте^скье, недавно умершему в Англии, и пропали.²⁴ С Фикельмоном: о книге Лундмана.²⁵ У него есть шведская рукопись Бока, шведа, пленного, сосланного в Сибирь, откуда он прислал рапорт о войне в Штокгольм, обвиняя во многом Карла XII. С Либерманом о Минье; с Хитровой и Аршияком — о плотской любви. Вечер хоть бы в Париже! Барант предлагал Пушкину перевести Капитанскую дочь» (284).

Эта запись позволяет нам окунуться в мир умственных интересов Пушкина; показывает, что предчувствие неумолимо надвигавшейся трагической развязки не опустошило его деятельный ум, не преградило его извечного стремления быть в просвещении с веком наравне.

Подробности об этом вечере содержатся в письме А. И. Тургенева к А. Я. Булгакову: «...мы провели очаровательный вечер у австрийского посла: этот вечер напомнил мне самые интимные салоны Парижа. Составился кружок из Баранта, Пушкина, Вяземского, прусского министра²⁶ и вашего покорнейшего слуги. Мы беседовали, что очень редко в настоящее время. Беседа была разнообразной, блестящей и очень интересной, так как Барант рассказывал нам пикантные вещи о Талейране и его мемуарах, первые части которых он прочел; Вяземский вносил свою часть, говоря свои острые словечки, достойные его оригинального ума. Пушкин рассказывал нам

²⁴ Рукописи Ш.-Л. Монте^скье сохранились; однако публикация их началась значительно позднее, с конца XIX в.

²⁵ Лундман — Людеман Вильгельм (Lüdeman W. 1796—1863) — автор книги «Petersburg wie es ist» (Dresden, 1830; 2 Aufl. Leipzig, 1836).

²⁶ Барон Либерман — прусский посол в Петербурге с ноября 1835 по июнь 1845 года.

анекдоты, черты Петра I и Екатерины II, и на этот раз я тоже был на высоте этих корифеев литературных салонов...»²⁷

Беседа имела «мемуарный» характер. Французский посол Проспер Барант и, как будет видно далее, Тургенев рассказывали о неизданных мемуарах Талейрана. Пушкин, крайне интересовавшийся в 1830-е годы мемуарами, воспоминаниями, хрониками, словом, документальными литературными жанрами, отвечал рассказами, почерпнутыми из мемуарных источников, из засекреченных, но тем не менее известных Пушкину записок Екатерины II, из свидетельств современников ее царствования. Разговор шел откровенный: историки Пушкин и Барант, разыскатель исторических бумаг Тургенев не славословили сильных мира сего, а судили их непредвзятым просвещенным судом, отдавали должное их заслугам, порицали их пороки.

Слова Александра Ивановича о том, что на этот раз он «тоже был на высоте этих корифеев литературных салонов», можно легко расшифровать, если прочесть его заграничные дневники.

Александр Иванович лично знал Талейрана по Парижу и Лондону, бывал в салоне герцогини Талейран-Перигор, супруги племянника Талейрана. Теперь было самое время блеснуть перед слушателями искрометной импровизацией о первейшем французском дипломате. Вдобавок Тургенев был наслышан о мемуарах Талейрана; он мог рассказать — и конечно рассказал — о них кое-что примечательное. Вот его записи за 1828 год.

«31 марта. *Полночь*. Обедал у Лансдовна с Дюмоном <...> и с другими. Дюмон говорил много о Каподистрии, о Бонштетине, о Талейране и пр. Сказывал черту Капод<истрии>, отказавшегося от пенсии, которую предлагал ему император <Николай>, сказав, что когда будет иметь в оной нужду, то к нему первому обратится.

Дюмон читал многое из записок Талейрана в Женеве, где Талейран провел с неделю. Примечательнейшее есть конгресс Эрфуртский, коего подробности и тайны никому еще доселе неизвестны. — Я пересказал Николаю все, что слышал, а он пересказал мне то, что знал о предложении

²⁷ Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939, с. 204 (подлинник по-французски).

государя, через б^арона Штейна, посылавшего с письмами о сем Николая <Тургенева> из Нанси в Женеву к Пиктету — французам Бурбонов. Только Штейн и Поцци были за них из русских. Несельроде и другие толковали о мире с Наполеоном».²⁸

Речь шла о закулисных усилиях русской дипломатии: вынужденный после заключения Тильзитского мира (1807) пойти на сближение с Наполеоном и подписать в октябре 1808 года Эрфуртскую конвенцию, Александр I предпринимал первые тайные шаги, направленные к реставрации династии Бурбонов.

«25 апреля <...> Дюмон сидел у меня и говорил о записках Талейрана, кои он читал ему. Желая убедить его в достоверности своих записок, Талейран прочел ему те части повествования, в коих происшествия известны Дюмону, как свидетелю, очевидцу оных. Он нашел одну истину и рассказ верный и оригинальный. Талейран, по мнению Дюмона, более нежели кто-нибудь знает историю своего времени: начинает оную с своего детства, с вступления в духовное звание — и тотчас переходит к революции. Ум его и разговор необыкновенно блистательный: mad. Stahl признавалась Дюмону, что она определила для себя почти все роды умов, но Талейранова ума по сию пору постигнуть, или по крайней мере определить не может. Дюмон отвечал ей, что его разговор отличается тем, что он обыкновенно перескакивает две или три идеи *inter medias res*²⁹ и заставляет слушающего отгадывать их и находить развязку в той мысли, которую содержит сказанное слово Талейрана. В пример сего Дюмон привел ответ Талейрана, когда его спросили о герцоге Ришелье: „C'est l'homme du monde qui connaît le mieux l'administration d'Odessa“.³⁰ Слушателю приятно самому

²⁸ ИРЛИ, ф. 309, № 9, л. 54. — Дюмон Пьер-Этьен-Луи (1759—1822) — швейцарский публицист, в 1782—1783 годах был священником в Петербурге; затем уехал в Англию и служил секретарем у маркиза Лансдоуна: в начале Великой французской революции переехал в Париж, где сотрудничал с Мирабо; в 1791 году уехал снова в Англию, где стал секретарем и переводчиком Бенгтама. Каподистрия Иоанн (1776—1831) — граф, в 1816—1822 годах один из руководителей Коллегии иностранных дел, почетный член «Арзамаса»; с 1827 года президент Греции.

²⁹ Между существом дела (лат.). — *Ред.*

³⁰ Это великосветский человек, который лучше всего знает административные дела Одессы (франц.). — *Ред.* Герцог Арман

придумать все то, что нужно первому министру Франции вдобавок к познанию — Одессы!!»³¹

Рассказы Баранта и Тургенева о Талейране не могли не заинтересовать Пушкина. Талейран был слишком заметной фигурой европейской истории за последние полвека, чтобы можно было оставаться безучастным к нему. Но интерес не означал одобрения. Пушкин порицал правление Луи Филиппа, и он переносил свое осуждение на тех политических деятелей прошлого, которые пошли на службу новому режиму. 21 августа 1830 года Пушкин с убийственной иронией писал Е. М. Хитрово: «Брак г-жи де Жанлис с Лафайетом был бы вполне уместен, а венчать их должен был бы епископ Талейран. Так была бы завершена революция» (XIV, 415; подлинник по-французски).

«9 генваря <...> Я зашел к Пушкину: он читал мне свои *pastiche*³² на Вольтера и на потомка *Jeune d'Arc*.³³ Потом он был у меня и мы рассматривали французские бумаги и заболтались до 4-х часов». Ермолов, Орлов, Киселев все знали и ожидали: без нас дело не обойдется. Ермолов, желая спасти себя — спас Грибоедова. Узнав, предварил его за два часа. Обедал у Татаринова. Зашел опять к Пушкину. Прочел ему письмо мое о Жюльеве <...> Дал Пушкину мои письма, переписку Бонштеттена с *m-me Stahl*, его мелкие сочинения; выписки из моего журнала о Шотландии и о Веймаре» (285).

Как стремительно шло сближение Пушкина с Тургеневым! Они буквально не могут обойтись друг без друга, встречаясь по несколько раз в день. Сначала Александр Иванович зашел к Пушкину, и тот прочел ему только что написанное произведение «Последний из свойственников Иоанны д'Арк». Затем Пушкин посетил Тургенева и рассматривал вместе с ним копии документов по истории России, извлеченные из Парижских архивов. Вслед за

Ришелье (1766—1822), французский государственный деятель, более 20 лет находился на русской службе; в 1803 году был назначен градоначальником Одессы. После падения Наполеона Ришелье вернулся во Францию и в 1815—1818, а затем в 1820—1821 годах возглавлял французское правительство.

³¹ ИРЛИ, ф. 309, № 10, л. 17.

³² Подделку (франц.). — *Ред.*

³³ Жанны д'Арк (франц.). — *Ред.*

осмотром исторических бумаг разговор обратился к делу о декабристах. Как и во время их беседы 15 декабря, вновь замелькали имена Ермолова, Михаила Орлова, Киселева; всплыло имя Грибоедова, которого спас Ермолов: генерал предупредил его о предстоящем аресте по делу восстания на Сенатской площади — Грибоедов успел уничтожить компрометирующие его самого и Ермолова документы.³⁴

И, наконец, третий раз в этот день встречаются Пушкин и Александр Иванович. Последний снова зашел к Пушкину с ворохом бумаг. Он передал Пушкину очередную пачку писем-корреспонденций, выписки из своего дневника о Шотландии и Веймаре (о них мы уже говорили), сочинения швейцарского писателя Карла Виктора Бонштеттена и его переписку с мадам де Сталь. Со скончавшимся в 1832 году Бонштеттенем Александр Иванович был лично знаком и, следовательно, мог рассказывать Пушкину свои личные впечатления о нем. Кроме того, Тургенев прочел Пушкину свое письмо о французском писателе Поле де Жюльвекуре. В доме Жюльвекура, женатого на Лидии Николаевне Всеволожской, Тургенев бывал в Париже. Один перечень тем показывает, какими оживленными были три свидания Пушкина с Тургеневым в этот короткий январский день.

Многое сближало их в эти дни: подготовка «Хроники русского» для «Современника», обозрение архивных сокровищ Тургенева, библиотеки Пушкина, собеседования по широкому кругу исторических и злободневных вопросов, словом, общность умственных интересов.

Сближала их и заинтересованность А. И. Тургенева журнальными планами Пушкина. В эти дни Александр Иванович писал в Париж:

«1837 13/25 Janvier

<...> J'aurai bien désiré de recevoir une lettre de Mr. Marmier, avec quelques détails sur son voyage. Dites le lui de ma part. Cette lettre retentirait dans le *Sovremennik* — *Contemporain*, journal de Mr. Pouskin, notre premier poete. Tachez d'en obtenir une de Mr. Marmier et rappelez lui sa promesse. Elle peut être courte, mais elle sera toujours bonne».³⁵

³⁴ Подробнее об этом см.: Нечкина М. В. А. С. Грибоедов и декабристы. Изд. 2-е. М., 1951, с. 482—490.

³⁵ ИРЛИ, ф. 309, № 950.

Перевод: «1837 13/25 января.

<...> Я хотел бы получить от Мармье письмо с некоторыми подробностями его путешествия. Скажите ему об этом от меня. Это письмо появилось бы в «Современнике», журнале Пушкина, нашего первого поэта. Постарайтесь заполучить письмо от Мармье и напомните ему о его обещании.³⁶ Письмо может быть коротким, но оно будет в любом случае хорошим».

Ксавье Мармье (1809—1882) — французский литератор; в середине 1830-х годов он принимал участие в экспедиции, снаряженной французской Академией в скандинавские страны; в 1837 году в журнале «Московский наблюдатель» были напечатаны его путевой очерк «Природа в Дании» и литературное эссе «Жизнь поэтов». После смерти Пушкина он побывал в России и издал в 1843 году «Письма о России, Финляндии и Польше». Позднее Ксавье Мармье перевел на французский язык повести Пушкина и написал о нем статью. Вот этого-то французского писателя приглашал Александр Иванович — с согласия, а скорее всего и по просьбе Пушкина — участвовать в «Современнике». Пушкин явно хотел увеличить в своем журнале удельный вес информации о Западной Европе, будь то Англия, Франция, Германия или Скандинавские страны.

Была еще одна причина, которая властно, хотя по всей вероятности безотчетно притягивала Пушкина и Александра Ивановича друг к другу. Враждебное отношение света к Пушкину в дни надвигавшейся катастрофы хорошо известно. Отверженным чувствовал себя и Тургенев. 14 января 1837 года он записал: «Опять от меня многие отворачивались, но и я от многих»; поколебалась уверенность даже в дружбе Жуковского: «Нужны ли мы друг другу?» — с горечью писал он в тот же день.

«15 генваря <...> Зашел к Пушкину; стихи к Морю о брате... <...> на детский бал к Вяземской (день рождения) Надиньки), любезничал с детьми, маменьками и гувернантками. — Стихи Пушкина к гр<афине> Закревской. Вальсировал. <...> Пушкина и сестры ее» (287).

³⁶ В письме из Парижа от 24 апреля (7 мая) 1836 г. Тургенев сообщал Вяземскому, что Мармье обещал ему «сообщить впечатления Скандинавского Севера, во всей их свежести, и позволил передать их Пушкину» (ЛН, т. 58, с. 123).

Подробнее об этом свидании с Пушкиным Александр Иванович писал И. С. Аржевитинову: «... прочел он мне наизусть много стихов, коих я не знал, ибо они не были напечатаны. Одни более других мне понравились и тем уже, что написаны давно по случаю распространившегося слуха, что будто брат Н<иколай> выдан англичанами; стихи адресованы к другому поэту, который написал стихи *К морю* и славил его».³⁷

Другой поэт — Вяземский. Летом 1826 года он жил в Ревеле, где, узнав о расправе над декабристами, написал стихотворение «Море»; поэт противопоставлял запятнанной преступлениями земле чистую морскую стихию, воспевал «светлые, вечно юные» волны. Свое стихотворение Вяземский послал в Михайловское. Вскоре он получил ответ Пушкина:

«Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.
Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун Земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

Сердечно благодарю тебя за стихи. Ныне каждый порыв из вещественности — драгоценен для души. Критику отложим до другого раза. Правда ли, что Николая Т<ургенева> привезли на корабле в П<етер>Б<ург>? Вот каково море наше хваленое!» (XIII, 290—291).

Не случайно в тяжелые преддуэльные дни в памяти Пушкина всплыли эти строки: пессимистический афоризм, завершающий философическое раздумие, с особой силой звучал для него в это время. Сочувственный отзыв нашло оно и в душе Александра Ивановича: он попросил список стихов; на следующий день поэт исполнил его просьбу; 21 января Тургенев отослал их в Париж брату, нечаянному виновнику пушкинского шедевра.

Мы знаем, что 15 января 1837 года Пушкин читал Александру Ивановичу и другие неопубликованные стихи; в дневнике они не обозначены; лишь несколькими строками ниже упомянуто о стихах Пушкина к А. Ф. Закревской. Пушкин посвятил ей три стихотворения. Какое

³⁷ РА, 1903, кн. 1, с. 144.

из них имеет в виду Тургенев? Стихотворения «Портрет» и «Наперсник» были напечатаны в «Северных цветах» на 1829 год; следовательно, речь идет о третьем, которое при жизни Пушкина не публиковалось: «Счастлив, кто избран своенравно...»

«21 января... Отдал письма Аршияку и завтракал с ним. Он прочел мне письмо А. Пушкина о дуэли от 17 ноября 836» (288).

Виконт Огюст д'Аршиак — атташе французского посольства в Петербурге, родственник, друг и секундант Дантеса. По свидетельству современников, д'Аршиак, вопреки своей близости к Дантесу, был необыкновенно симпатичной личностью и благожелательно относился к Пушкину. Д'Аршиак прочитал А. И. Тургеневу письмо Пушкина к В. А. Соллогубу от 17 ноября 1836 года, в котором поэт объявлял, что, узнав о намерении Дантеса жениться на Е. Н. Гончаровой, он берет обратно свой вызов на дуэль.

«21 января. <...> Зашел к Пушкину: о Шатобриане и о Гете, о моем письме из Симбирска — о пароходе, коего дым проест глаза нашей татарщине» (288).

Это смелое, образное выражение сорвалось с пера Тургенева 7 сентября 1836 года в письме к Вяземскому: «Как мое Европейство обрадовалось, увидев у Симбирска пароход, плывущий из Нижнего к Саратову и Астрахань. Хотя на нем сидели татары и киргизы! Отчизна Вальтера-Скотта благодетельствует родине Карамзина и Державина. Татарщина не может долго устоять против этого угольного дыма Шотландского; он проест ей глаза, и они прояснятся».³⁸

Многое видел Александр Иванович во время своих заграничных странствий, о многом он мог рассказать Пушкину. Вплотную столкнулся он с промышленной Европой летом 1828 года при известной уже нам поездке из Лондона в Абботсфорд и Эдинбург. По всей вероятности, он не скупился знакомить своих друзей с картинами, столь непривычными русскому глазу.

«24 июля <1828>. Манчестер. 12-й час вечера. Выехав из Бирмингама в 9-ть часов, я точно так, как было обещано, приехал сюда ровно в 8^{1/2} вечера, сделав три мили

³⁸ «Литературный архив», т. I, М.—Л., 1938, с. 85.

объезда городами, через кои идет the Traveller.³⁹ Я сидел с кучером и имел случай расспрашивать его о том, что представлялось глазам моим и, подобно Вральману, видеть свет свысока. <...>

Едва выехали мы за город, как я увидел сперва вдали, а потом и вблизи густые облака черного дыма, которые носятся над окрестностями Бирмингама: в разных местах они выходили из земли и над ними клубился черный дым, образующий в атмосфере мглу, подобную лондонской. Солнце затмевается сим дымом и сею мглою, вся окрестность делается туманною и дает и зелени какой-то особенный театральный цвет. Чем более отдалялись мы от Бирмингама, тем мгла становилась гуще, огни из труб и из подземных печей чаще, и я увидел на необозримом пространстве угольные и железные фабрики, с длинными трубами, кои придавали всему краю вид обширного пепелища турецкого, погорелого города, от коего остались невредимыми только одни минареты.

Уголья и железные огарки, покрывающие поверхность земли, дают ей какой-то печальный вид — и, кажется, подземное царство Вулканово не иначе можно представить, как наглядевшись на этот неугасающий пожар, из недр земли выходящий. И день и ночь без туч пылает горизонт. На пространстве 14 миль вы видите сию картину, изредка свежую зеленью оживленную.

Натурально, что и люди, кои бродят или трудятся на сем обширном пожарище, чернеют как уголья; и прекрасный пол здесь уже не только смуглый и чернобровый, но и черномазый. Но я встретил одну красавицу-чернушку, которой глаза блистали из-под копоты лица и черты ее пленили и сквозь дымную наружность.

За несколько миль от Бирмингама уже все взрыто и только одна проезжая дорога осталась невскопанною, но и ее пересекают железные дороги, полосы-колеи, в разные стороны к многочисленным фабрикам проведенные.

Все курится, но это фимиам промышленности народной. Ночью зарева сии по всей окрестности должны быть поощражаемою картиною. С небольшой горы, на которую мы поднялись, огни сии еще умножились и взор мой терялся в туманных отдалениях и в мраке, который невольно сравнил я с нашею будущностью и видел в сем по-

³⁹ Почтовая карета (англ.). — *Ред.*

жарище дорогу жизни, очищаемой в горниле бедствий». ⁴⁰

Вот так прямо набело, без единой пометки занесены в дневник впечатления Тургенева. Как своеобразны его сравнения, в которых промышленная панорама Англии проступает сквозь призму исторических и мифологических ассоциаций.

Его любознательный ум не останавливается на полдороге: ему мало изобразить, ему надобно осмыслить виденное. На следующий день он пишет резюме, в котором дает свое истолкование хода цивилизации: «Успехи городов, как и людей частных, зависят часто от одной счастливой мысли, от одного удачного предприятия: Болтон и Ватт открыли паровую машину — и Манчестер процветает. Но и в жизни городов есть эпохи различные, как и в жизни человеческой: есть первые неверные шаги детства, есть цветущая молодость и силы мужества, есть дряхлость и упадок, часто от городов и нас не зависящие.

Новый Ватт откроет новую машину — и судьба Манчестера и Бирмингама может измениться. Гений творит и разрушает; и разрушает часто и самую творческою своею силою». ⁴¹

Тургенев не был «залетным путешественником». Он понял, что в окутанных дымом фабричных корпусах, мимо которых неслась почтовая карета, рождалась Европа завтрашнего дня.

Пушкин интересовался перестройкой английской экономики, тем социальным антагонизмом, который, подобно раковой опухоли, неумолимо разрастался в дыму заводских корпусов; в статье «Путешествие из Москвы в Петербург» он писал:

«Прочтите жалобы английских фабричных работников: волоса станут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смидта или об иголках г-на Джексона» (XI, 257).

Мы не знаем достоверно, что именно рассказывал Александр Иванович Пушкину об английской промыш-

⁴⁰ ИРЛИ, ф. 309, № 10, л. 98.

⁴¹ ИРЛИ, ф. 309, № 10.

ленности. Несомненно одно: беседы с ним были одним из главных источников сведений Пушкина о стремительно менявшей свое обличие Англии; никакие журналы и книги, как бы поучительны они ни были, не могли заметить живое слово очевидца-соотечественника.

В этот день, 21 января, Тургенев еще раз встретился с Пушкиным: «Обедал у Лубяновского с Пушкиным, Стогом, Свиным, Багреевым и пр. Анекдоты о Платоне <I нрзб.> Репнине, Безбородке, Тутолмине и Державине. Донос его на Тутолмина государыне и поступок императрицы» (288).

Обед был у Федора Петровича Лубяновского (1777—1869), сенатора, переводчика, автора путевых очерков, в молодости служившего адъютантом у генерал-фельдмаршала Николая Васильевича Репнина. Лубяновский жил на Мойке, в одном доме с Пушкиным. Среди гостей были Александр Алексеевич Фролов-Багреев, зять М. М. Сперанского, управляющий Государственным заемным банком; Павел Петрович Свиный, литератор, издатель «Отечественных записок», в которых он печатал материалы по истории России; Алексей Данилович Стог, сенатор, член Английского клуба, литератор.

Предметом общего разговора было царствование Екатерины II. Говорили о московском митрополите, церковном ораторе, авторе богословских книг Платоне (Левшине, 1737—1812), о дипломате, секретаре Екатерины II, князе Александре Андреевиче Безбородко, и о некоторых других государственных деятелях. Беседовали и о ссоре наместника Петрозаводской губернии Тимофея Ивановича Тутолмина с Державиным, назначенным туда губернатором в конце 1784 года.

Тутолмин поехал в столицу с жалобой на Державина. Последний послал вдогонку донесение о беспорядках в тех частях управления, которые были подведомственны наместнику. Тутолмин был вызван к Екатерине II и на коленях просил милости. Биограф Державина академик Я. К. Грот писал об этом: «О том, что Тутолмин в кабинете императрицы бросился ей в ноги, ходили действительно слухи, но тому были различные толкования. Противная Державину партия рассказывала, что Тутолмин по приезде из Петрозаводска несколько раз был пригла-

шаем к столу императрицы, что в первый раз, после обеда, она дала ему прочесть донесение Державина, а через несколько времени потребовала у него отзыва об этой бумаге и на замечание о ее неосновательности будто бы сказала, что и сама ничего не находит в ней, кроме поэзии; будто бы Тутолмин, откланиваясь, заявил, что просит одной милости: стал на колени и, поцеловав руку государыни, ходатайствовал о пожаловании Державину ордена Владимира 2-й степени, что она и одобрила, похвалив Тутолмина за благородный поступок». ⁴²

Далее Я. К. Грот высказывает сомнение в этой версии, указав, что Державин получил орден Владимира не 2-й, а 3-й степени, и то не в Петрозаводске, а уже в Тамбовской губернии в 1787 году. Но нас в данном случае интересует не достоверность самого рассказа, а источник информации биографа Державина; в примечании к этому месту он писал: «Это рассказывал мне покойный Ф. П. Лубяновский, некогда адъютант Репнина, очень не благоволивший к поэту. <...> Он уверял, что слышал этот рассказ от самого Тутолмина, в бытность его московским генерал-губернатором, и передавал его с разными прикрасами, прибавляя в заключении, что бывший наместник не удовольствовался упомянутою просьбой, но при вторичной, прощальной аудиенции просил еще последней милости: чтоб ему дозволено было самому надеть на Державина пожалованный орден». ⁴³

Итак, тот самый Лубяновский, который рассказывал анекдоты екатерининского царствования Пушкину и его друзьям, осведомлял Я. К. Грота. Вероятно, в обоих случаях он передавал одни и те же красочные подробности о распре Державина с Тутолминым.

«23 генваря. Кончил переписку *Веймарского дня*, прибавил письмо 15 англичаи к Гете и ответ его в стихах и после обеда отдал и прочел бумагу Вяземскому, а до обеда зашли ко мне Пушкин и Плетнев и читали ее и хвалили. Пушкин хотел только выкинуть стих<отворение> Лобанова» (289).

Корреспонденция о Веймаре появилась в пятом томе «Современника», без стихотворения Лобанова. Но отсут-

⁴² Державин Г. Р. Сочинения, т. VIII. СПб., 1880, с. 376.

⁴³ Там же, с. 376—377.

ствует в ней и стихотворный ответ Гете, вместо которого напечатано письмо Вальтера Скотта к Гете.

«24 января. Воскресенье. Кончил чтение Шатобриана Англ<ийской> литер<атуры>. Сколько прекрасных страниц, гармонических и трогательных; но где англ<ийская> литература? Везде он, а Мильтон редко выглядывает из-под Шатобриана» (289).

Пусть в этой записи нет прямого упоминания Пушкина; обойти ее было бы непростительной ошибкой. Вспомним, что в конце 1836 года Пушкин в статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“» писал о той же книге французского писателя: „В ученой критике Шатобриан нетверд, робок и сам не свой; он говорит о писателях, которых не читал; судит о них вскользь и понаслышке и кое-как отделяется от скучной должности библиографа; но поминутно из-под пера его вылетают вдохновенные страницы; он поминутно забывает критические изыскания, и на свободе развивает свои мысли о великих исторических эпохах, которые сближает с теми, коим сам он был свидетель. Много искренности, много сердечного красноречия, много простодушия (иногда детского, но всегда привлекательного) в сих отрывках, чуждых истории английской литературы, но которые и составляют истинное достоинство *Опыта*» (XII, 145).

Сравним оценку Пушкина с суждением Александра Ивановича: невольно возникает мысль, что дневниковая запись является конспектом того, что развернуто в статье Пушкина. Подобное совпадение предопределено чертами интеллектуальной близости Пушкина и Тургенева.

«26 января. Я сидел до 4-го часа, перечитывал мои письма; успел только прочесть Пушкину выписку из пар<ижских> бумаг» (290).

Выписки содержали донесения французских послов из Петербурга времен Петра I.⁴⁴ Для Пушкина они были «хлебом насущным»; он хотел вторично в этот день навестить Александра Ивановича, еще и еще почитать эти донесения. Но события захлестнули его, и он второпях пишет записку Тургеневу:

«Не могу отлучиться. Жду Вас до 5 часов».

⁴⁴ Об этом см.: Фейнберг И. Незавершенные работы Пушкина. Изд. 5-е. М., 1969, с. 162—187.

И на том же клочке бумаги рукой Тургенева: «Последняя записка ко мне Пушкина накануне дуэля».

Больше они не встретились. Многое, очень многое осталось недоговоренным...

Во время их последней встречи Пушкин порадовал Тургенева подарком. «Пушкин за день до дуэля подарил мне свои повести с отметкою его руки на заглавии (вместо 1-й части написана 2-я), отыщите и ее и пришлите ко мне», — писал Александр Иванович Жуковскому 28 марта.⁴⁵

Повести, подаренные Тургеневу, это — «Поэмы и повести Александра Пушкина» в двух частях, изданные в 1835 году. Тургенев в это время был за границей и поэтому получил их с запозданием.

В том же письме к Жуковскому Александр Иванович сообщал: «...на столе у него лежала доставленная мною из Италии книжка с свободолюбивыми итальянскими песнями. Я не желал бы, чтобы она (с моею отметкою) валялась или перешла в другие руки; да и в ней отметил кое-что Пушкин и обещал мне ее возвратить».⁴⁶

«Книжка с свободолюбивыми итальянскими песнями» не сохранилась среди книг Пушкина; скорее всего, она бесследно исчезла в первые же дни после катастрофы.

И третья просьба к Жуковскому: «Может быть найдется у вас и Песнь о Полку Игореве, in-4, в бумажке, с отметками карандашом Италинского. Я ссудил ею Пушкина для его издания этой песни. Пожалуста, поищите. Пропадет и никто не узнает, что рука единственного русского археолога объясняла певца древнейшего; да и объяснения — по восточным языкам — важны».⁴⁷

«27 января... Скарятин сказал мне о дуэли Пушкина с Геккерном; я спросил у Карамзиной и побежал к Мещерской: они уже знали. Я к Пушкину: там нашел Жуковского, князя и княгиню Вяземских и раненого смертельно Пушкина, Арндта, Спасского — все отчаявались. — Пробыл с ними до полуночи, и опять к <княгине> Мещерской». Там до двух и опять к Пушкину, где пробыл до 4-го утра. Государь прислал Арндта с письмом, собствен-

⁴⁵ «Московский пушкинист», вып. I, с. 28.

⁴⁶ Там же.

⁴⁷ Там же. Италинский Андрей Яковлевич (1743—1827) — камергер, русский чрезвычайный посланник и полномочный министр при папском дворе.

⟨ным⟩ карандашом: только показать ему: «Если Бог не велит нам свидетелься на этом свете, то прими мое прощенье (которого Пушкин просил у него себе и Данзасу) и совет умереть христьянски, исповедаться и причаститься; а за жену и детей не беспокойся; они мои дети и я буду пещись о них». Пушкин сложил руки и благодарил Бога, сказав, чтобы Жуковский передал государю его благодарность. Приезд его: мысль о жене и слова, ей сказанные! «будь спокойна, ты ни в чем не виновата» (290).

«28 генваря. Луи⁴⁸ справлялся: хуже. В 10 часов я уже был опять у Пушкина. Опасность увеличилась. Страдания ночью и крики, коих не слыхала жена. Последний разбудил ее, но ей сказали, что это на улице.⟨...⟩

Был на похоронах у сына Греча: опять к Пушкину, простился с ним. Он пожал мне два раза, взглянул и махнул тихо рукою. Карамзину просил перекрестить его. Велгурскому сказал, что любит его. Жуков⟨овский⟩ все тот же.

Обедал у Путят⟨иных⟩. Потом опять к Пушкину и домой и к П⟨ушкину⟩; пил чай у Карамз⟨иных⟩ до 4 часу» (291).

Куда бы ни шел в этот день Тургенев, его неудержимо влекло назад в хорошо знакомый дом на Мойку. Умом он понимал, что наступила катастрофа, но сердце еще не хотело верить в неизбежность страшной потери.

«29 генваря. День рожденья Жуковского и смерти Пушкина. Мне прислали сказать, что ему хуже да хуже. В 10-м часу я пошел к нему. Жуковский, Вельгурский, Вяземский ночевали там. Князь А. Н. ⟨Голицын⟩ призвал к себе: рассказал ему о Пушкине и просил за Данзаса... Описал весь день и кончину Пушкина в двух письмах для сестрицы.

В 2³/₄ пополудни поэта не стало: последние слова и последний вздох его. Жуковский, Вяземский, сестра милосердия, Даль, Данзас, Др...⁴⁹ закрыл его глаза» (291).

Печальные события, связанные с гибелью Пушкина, рассказаны Тургеневым в его письмах к друзьям и близким. Повествуя о народном горе, о трогательных проявлениях симпатии простого народа к погибшему поэту, Александр Иванович с горечью писал А. И. Нефедьевой: «Одна

⁴⁸ Луи — слуга-француз Тургенева.

⁴⁹ Др... — т. е. доктор; Тургенев имел в виду врача Андреевского.

так называемая *знать* наша или высшая аристократия не отдала последней почести Гению Русскому: она толкует, следуя моде, о народности и пр., а почти никто из высших чинов двора, из генерал-адъютантов и пр. не пришел ко гробу П<ушкина>. Но она, болтая по-французски, по своей русской безграмотности, и не в праве печалиться о такой потере, которой оценить не могут». ⁵⁰ «Знать наша не знает славы русской, олицетворенной в Пушкине», — записано в дневнике Тургенева.

Полуопальному действительному статскому советнику Тургеневу повелел Николай I сопровождать в последний путь опального поэта.

«2 февраля <...> Жуковский приехал ко мне с известием, что Государь назначает меня провожать тело Пушкина до последнего жилища его. Мы толковали о прекрасном поступке Государя в отношении к Пушкину и к Карамзину. После него Федоров со стихами на день его рождения, и опять Жуковский с письмом графа Бенкендорфа к графу Строганову, — о том, что вместо Данзаса назначен я, в качестве старого друга (*ancien ami*), отдать ему последний долг. Я решился принять и переговорить о времени отъезда с графом Строгановым. Поручил Федорову собрать сведения о Пскове. Пошел к графу Строганову <...> Графа Строганова не застал <...> Был в другой раз до обеда у графа Строганова, отдал письмо, и мы условились о дне отъезда. Государю угодно, чтобы завтра в ночь. Я сказал, что поеду на свой счет и с особой подорожной» (293).

Не по казенной надобности, не из желания угодить Николаю I ехал Тургенев; друг ехал хоронить друга.

В тот же день до Александра Ивановича дошло стихотворение «На смерть поэта». «Стихи Лермонтова прекрасны», — записал он в дневнике.

«4 февраля, в 1-м часу утра или ночи, отправился за гробом Пушкина в Псков; перед гробом и мною скакал жандармский капитан. <...> На станции перед Псковом встреча с камергером Яхонтовым, который вез письмо Мордвинова к Пешурову, но не сказал мне о нем. Я поил его чаем и обогнал его, приехал к 9-ти часам в Псков, прямо к губернатору — на вечеринку. Яхонтов скор и

⁵⁰ Пушкин и его современники, вып. VI. СПб., 1908, с. 66. Письмо от 1 февраля 1837 г.

прислал письмо Мордвинова, которое губернатор начал читать вслух, но дошел до Высочайшего повеления — о *невстрече* — тихо и показал только мне, именно тому, кому казать не должно было: сцена хоть бы из комедии!» (294).

Мордвинов передавал в письме волю Николая I, по которой на похоронах Пушкина все должно было быть по возможности незаметно, губернатору поручалось пресекать «всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина» (294).

Для всей мыслящей России Пушкин был национальным гением, для Николая I — обыкновенным дворянином!

«5 февраля отправились сперва в Остров, за 56 верст, оттуда за 50 верст к *Осиповой* — в Тригорское, где уже был в три часа пополудни. За нами прискакал и гроб в 7-м часу вечера; почталюна оставил я на последней станции с моей кибиткой. Осипова послала, по моей просьбе, мужиков рыть могилу; вскоре и мы туда поехали с жандармом; зашли к архимандриту; он дал мне описание монастыря; рыли могилу; между тем я осмотрел, хотя и ночью, церковь, ограду, здания. Условились приехать на другой день и возвратились в Тригорское. Повстречали тело на дороге, которое скакало в монастырь. Напились чаю; я уложил спать жандарма и сам остался мыслить вслух о Пушкине с милыми хозяйками; читал альбом со стихами Пушкина, Языкова и пр. Нашел Пушкина нигде не напечатанные. Дочь пленяла меня; мы подружились. В 11 часов я лег спать. На другой день

6 февраля, в 6 часов утра, отправились *мы* — я и жандарм!! — опять в монастырь, — все еще рыли могилу; мы отслужили панихиду в церкви и вынесли на плечах крестьян и дядьки гроб в могилу — немногие плакали. Я бросил горсть земли в могилу; выронил несколько слез — вспомнил о Сереже, — и возвратился в Тригорское. Там предложили мне ехать в Михайловское, и я поехал с милой дочерью, несмотря на желание и на убеждение жандарма не ездить, а спешить в обратный путь.

Дорогой Мария Ивановна объяснила мне Пушкина в деревенской жизни его, показывала урочища, места <вырвано> любимые сосны, два озера, покрытых снегом, и мы вошли в домик поэта, где он прожил свою ссылку и написал лучшие стихи свои. Все пусто. Дворник, жена его плакали. Я искал вещь, которую бы мог унести из дома;

две крошечные вазы на печках оставил я для сирот. Спросил старого, исписанного пера: мне принесли новое, неочиненное; насмотревшись, мы опять сели в кибитку-коляску и, дружно разговаривая, возвратились в Тригорское. Отзавтракав, простились. Хозяйка дала мне немецкий > keer-sake ⁵¹ на память; я обещал ей стихи Лермонтова, Онегина и мой портрет. Мы нежно прощались, особенно с Марией Ивановной, уселись в кибитку и на лошадях хозяйки по реке Великой менее нежели в три часа достигли до 1-ой станции. Заплатил за упавшую под гробом лошадь — и поехал дальше» (294—297).

Ранее Александр Иванович не был знаком с Осиповой и ее семейством. Они встретились и сблизились у гроба Пушкина.

Друзья горевали.

Враги продолжали слезку.

«Граф Бенкендорф, свидетельствуя совершенное почтение его превосходительству Сергию Семеновичу, имеет честь сообщить в подлиннике полученную им из Москвы частную записку о намерении тамошних литераторов служить панихиду по умершем Пушкине, — покорнейше прося оную записку по прочтении ему вернуть. Б.

1-го марта 1837».⁵²

Экс-арзамасец Уваров покорнейше исполнил просьбу шефа жандармов графа Бенкендорфа: он прочел записку, взял на заметку имена литераторов, задумавших почтить память поэта, и вернул записку Бенкендорфу.

Когда-то в Михайловском Пушкин заказал панихиду по убиенному боярину Георгию — английскому поэту Байрону, погибшему в Греции.

Теперь московские литераторы заказывали панихиду по убиенному боярину Александру — поэту Пушкину, погибшему в Петербурге.

Три общественных трагедии пережил Пушкин. Первая — разгром революционного движения в Западной Европе в начале 1820-х годов.

Вторая — поражение декабристов на Сенатской площади. Третья — разочарование в политике Николая I,

⁵¹ Альбом со стихами и иллюстрациями (англ.). — *Ред.*

⁵² Отдел письменных источников Гос. исторического музея, ф. 17, № 66, л. 39.

утрата веры в возможность установления в стране просвещенной монархии.

Драматическое движение истории отразилось и в творчестве Пушкина, и на судьбе литературно-общественных группировок, участником которых он являлся.

После 14 декабря 1825 года на обломках арзамасского братства возникает пушкинский круг писателей; он появляется на историческом переломе, в годы колебаний Николая I по поводу необходимости проведения кардинальных социальных реформ. Деятельность секретного комитета 6 декабря 1826 года и отмена в 1828 году «чугунного» цензурного устава Шишкова показывают нерешительность правительства в области внутренней политики. Эта эпоха длится до 1832 года; именно в эти годы — 1825—1832 — мы наблюдаем наиболее интенсивную деятельность писателей пушкинского круга как в их журнальных начинаниях, так и в попытках склонить правительство к избранию курса просвещенного правления. После запрещения «Европейца» в политике Николая I окончательно возобладало крепостническое начало. Сознание социального поражения все сильнее ощущается среди передовых дворянских писателей. Гибель Пушкина лишь ускоряет неизбежный процесс дальнейшей изоляции и распада их литературно-общественного содружества.

Деятельность пушкинского круга писателей — значительная веха в истории русского Просвещения. Произведения Пушкина, Жуковского, Гоголя, Дельвига, Баратынского, Вяземского, Владимира Одоевского, Тютчева стали неотъемлемой частью нашей духовной культуры. Историко-философские письма, высказывания и статьи Чаадаева, Ивана Киреевского, Пушкина, Дениса Давыдова, Жуковского, Вяземского способствовали последующему расцвету славянофильства и западничества. Таким образом, значение этого литературно-общественного течения выходит за пределы художественной литературы; оно оставило заметный след и в истории общественной мысли.

Исторически весом и социальный опыт писателей пушкинского круга. Но это тема особого исследования, которое, на наш взгляд, выявит разностороннее воздействие судеб Пушкина и его литературных соратников на жизненные пути писателей второй половины XIX и начала XX века.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения».
- ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР (Ленинград).
- ЛН — Литературное наследство.
- Новонайденный автограф Пушкина — Новонайденный автограф Пушкина. Подготовка текста, статья и комментарии В. Э. Вацуро и М. И. Гиллельсона. Л., 1968.
- ОА — Остафьевский архив князей Вяземских, тт. I—V. СПб., 1899—1913.
- РА — «Русский архив».
- РЛ — «Русская литература».
- РС — «Русская старина».
- Рыскин — Е. И. Рыскин. Журнал А. С. Пушкина «Современник». 1836—1837. Указатель содержания. М., 1967.
- ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).
- ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции (Москва).
- ЦГИА — Центральный государственный исторический архив (Ленинград).

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
Вступление	3
Глава первая	16
Глава вторая	31
Глава третья	44
Глава четвертая	65
Глава пятая	92
Глава шестая	115
Глава седьмая	168
Список условных сокращений	199

Максим Исаакович Гиллельсон

ОТ АРЗАМАССКОГО БРАТСТВА К ПУШКИНСКОМУ КРУГУ ПИСАТЕЛЕЙ

*Утверждено к печати Редакцией серии
Научно-популярной литературы*

Редактор издательства В. А. Браиловский

Художник Д. А. Андреев

Технический редактор А. П. Чистякова

Корректоры Э. Н. Липпа, Г. И. Суворова

Сдано в набор 18/І 1977 г. Подписано к печати 24/V 1977 г. Формат
84×108¹/₃₂. Бумага № 3. Печ. л. 6¹/₄ = 10.50. усл. печ. л. Уч.-изд. л. 11.03.

Изд. № 6601. Тип. вак. № 43. М-17368. Тираж 25000. Цена 65 коп.

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, д. 1

65 коп.



**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ**